

◆ ВСЕМИРНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА ◆



ГРИГОРИЙ  
ДАНИЛЕВСКИЙ



Княжна Тараканова



МОСКВА  
2022

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
Д18

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В коллаже на обложке использованы фрагменты работ художников *Константина Флавицкого* и *Помпео Батони*

**Данилевский, Григорий Петрович.**

Д18 Княжна Тараканова / Григорий Данилевский. — Москва : Эксмо, 2022. — 640 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-173146-5

В книгу вошли наиболее известные произведения Григория Данилевского (1829–1890) — «Беглые в Новороссии» (1862), «Княжна Тараканова» (1883) и «Сожженная Москва» (1886). Роман «Беглые в Новороссии» повествует о судьбе беглых крестьян накануне реформы 1961 года. Исторический роман «Княжна Тараканова» — о трагической участи авантюристки XVIII века, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и претендовавшей на российский престол. Роман «Сожженная Москва» посвящен событиям Отечественной войны 1812 года.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-173146-5 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022



# Беглые в Новороссии







## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ



### I

#### ЛЕВЕНЧУК И МИЛОРОДЕНКО

**В** конце апреля, по пути к азовскому поморью, из старых украинских губерний пробирались глухими тропинками, оврагами и одинокими степными лесками двое пешеходов. Оба они были молоды, измождены усталостью, в потертой одежде и с палками в руках. Ночевали они под стогами, пили редко из колодцев, а более из не высохших еще снеговых озерков, ели что бог даст и торопились-торопились. Младший из них, тип чистого малоросса, немного мешковатый и вялый, шел как будто нехотя, пугливо оглядывался по сторонам, вздрагивал при малейшем звуке в степи, ранее старшего сворачивал в сторону, едва завидев на пути одинокий постоялый двор, хутор или проезжую смиренную тележку. Зато старший шел смело и даже весело. На нем был зеленый жилет с ключом на веревочке, серая барашковая шапка и ветхие плисовые шаровары. Он бойко говорил по-русски, хотя был родом малоросс.

— Ты, брат Хоринька, смотри у меня, не дури, не кручись: я уж в пятый раз бегаю. А что? — сходит! ровно, миленький, ничего. В первый раз-таки, как поймали и привели, скажу тебе, вспороли напорядках. Исправник был выжига, пятью червонцами не откупился. А зато места-то, места какие! Батюшки мои светы! Ты в резонт то ись не возьмешь, что это за край, эта поморская сторона! Уж недаром же я веду тебя туда, братец! Там тоже поселки

есть, да не чета нашей треклятой «панщине»; сказано — волюшка: вот как птицы вольные, там и земля вольная! Разные тебе языки, сбоку сплошь донщина, а там наши города и море! Жизнь, жизнь, родимый! Денег заработаешь вдоволь, пачпортник тебе выхлопочут. Паны там не то, что у нас: всё ухари-молодцы и по-кавалерски тебя содержат. Значит, не то что у нас, по старым господским хуторам, в месячину тебе толоконце одно отпускают, значит, дерть<sup>1</sup> собачью, жито пополам с ячною мучицей по пуду на душу. А там тебе и сало, и масло постное греческое, прямо с порта, в богоспасенные дни. Ешь-кушай да трудись, душа. Сказано, вольница! Захочешь жены — и жинку тебе справят новую. Пять раз я бегал и пять раз все новых шамшурок доставал! Такое уже заведение было; коли ты лакомка — не нахвалишься, ей-богу!

Младший на эти слова тихо вздохнул, продолжая семенить босыми пятками, держа сапоги через плечо и изредка потирая тряпицей разболевшиеся от ветра глаза.

— Ну, что вздыхаешь, Хоринька? Слушай, Харько! Эти твои оханья да вздохи — только одни пустяки. Ну, куда мы идем, а? Слышал ты про азовски лиманы, про донски гирла<sup>2</sup> и камыши? Ну? Глуп ты есть, человек, и только! Говорю тебе: приведу тебя в такие места, что ахнешь. Бос ты — обуют тебя, наг ты — оденут, гладен — накормят, пьяница — пить дадут, баб любишь — предоставят тебе таких, что ума помраченье! Волюшка, волюшка, Харитон!.. Кто ее не любит? Бежал я, братец ты мой, впервой сдуру, от блажи, понятия еще не имел, значит, о живодере Петилье, у которого после трижды в наймах бурлаком<sup>3</sup> жил, — там такой шельма французик под Бердянском степи держал, — а и то, что со мною случилось! Вышел я, братец, наработамшись и намучимшись вдоволь, в дождь да в студеную непогоду пробирался, как и мы теперь, свиными дорожками,

<sup>1</sup> Измельченное зерно без специальной очистки, корм для животных.

<sup>2</sup> Рукав или проток в дельтах рек.

<sup>3</sup> В данном случае наемный пришлый крестьянин.

по захоlustьям. Да как вышел я за Днепр, как повидел, что это уже не наша панская Украина, а вольная со светосоздания царица<sup>1</sup>, значит, божья степь, где, куда ни глянешь, все поле да поле, ковыль расстилается да коршунье летает, — всполз я, избитый и усталый, на курган и поглядел этак вперед себя. Голова, брат, и закружилась, а глаза чуть не ослепли от свету, простора да сверканья всякого. И смотрел я, Хоринька, с кургана того от утра вплоть до вечера; упал и заплакал с радости. Так бы, кажись, и пошел на все четыре стороны разом... Волюшка, воля! Пстой, и ты не то заговоришь, как увидишь ее! Сказано, рай! Знаешь бурлацку песню:

Эх ты, степь моя, степь бердянская!..  
Жизнь постыла, неволя панская!

Веселый вожак, выйдя из глубокого оврага, по дну которого шел с товарищем, несмотря на усталость, звонко запел, потом вдруг засмеялся и замолчал.

— Харько! — сказал он, плетясь в гору.

— Что?

— Ты Левенчук по прозвищу?

— Левенчук.

— Ну, тебя же мы, как придем, окрестим иначе. Вот я Милороденко по прозвищу, там на хуторе, дома, значит, по ихней панской ревизии; а в бурлаках я, братец, повсегда Александр Дамский, и имени уж теперь ни в жисть не меняю; так меня все кавалеры там, значит, помещики, и знают, потому что пачпорта теперь уж мне не нужно, — и без него я знаю, как обойтись. А вот тебе пачпортник на первый раз нужен. Слушай, Харько...

— Что, Василь Иваныч? — грустно отозвался, вздыхая, новичок.

— Как придем мы на границу, до ногайских степей, береги ты меня, душа Хоринька. Покаюсь тебе. Непьющ

---

<sup>1</sup> Пахотная степь, временно оставленная для отдыха и пастьбы скота.

я сызмальства, а как доберусь до воли — себя не помню: пять раз в шинке у Лысой Ганны пропивался, как собачий сын, до нитки. Береги меня, Харько, как свою душу; не давай мне сразу простору; ублажай меня, уговаривай, да поделикатней при людях, — потом, пожалуй, и свяжи, даже поколоти, обругай самую скверную бранью, а водки много не давай. Хоть просить буду, хоть бить тебя буду, не давай водки, не давай и денег.

Граница уж близко; вот тебе вся моя казна, — возьми и спрячь... Не силен я тут против соблазна... Ох, не силен! Сказано, воля!

Милороденко действительно остановился, присел на траву, снял сапог, достал оттуда в грязной ветошке какую-то сумку, вынул три замасленные ассигнации, посмотрел на них на свет с вниманием и как бы с сожалением, похлопал по ним и отдал их товарищу.

До желанных мест крайнего юга оставалось недалеко. Туда стремились новые товарищи, как стремятся и стремились искони, по неодолимому влечению, сотни и тысячи других, им подобных беглых русских людей, с перелетными от севера птицами, ища новой пищи и новой доли.

Два-три перехода — и они были наконец на рубеже того непочатого или мало еще початого края Новороссии, где Милороденко пророчил у господ кавалеров своему товарищу такое счастье и богатство, каких он и во сне не видывал.

Овраги и лесистые балки стали попадаться реже. Стоги, под которыми они ночевали и прятались на отдыхе от дождей и солнца, исчезали вовсе. Пошла сплошная, необозримая степь, заросшая густыми цветущими травами. Сел и хуторов не было видно вовсе. Кое-где только мелькали в стороне, чернея длинными шестами, со вздетыми на них пучками ковыля, одинокие овчарни. Да иной раз, пробираясь чуть видною в траве колеєю проселка, натыкались они на пустынный колодезь, до того глубокий, что не было видно его дна, как туда ни смотри. Встречные чумацкие обозы они обходили, а к одиноким пахарям в степи

приближались. Подойдут, особенно вечером, к огоньку, Милороденко поклонится, подсядет на корточки к маленькому костру, заговорит, посмеиваясь и смотря по своему обычаю в ладони, перебросит с руки на руку уголек, закурит трубочку, и сейчас начинаются у него расспросы и шутки.

— Что, от панов? Панские? — спросят его.

— Панские! — скажет и зальется смехом Милороденко, передавая анекдоты о хуторских невзгодах.

Но Левенчук шел печально и мало принимал участия в веселых проказах и рассказах товарища.

В одном месте Милороденко, угощенный кем-то на перепутье, говорил товарищу, сильно вздыхая:

— Как будем мы идти близко к морю, там речка Мертвые Воды есть. Так-то! Впервые, как я убежал, жил я в косарской артели; шли мы с заработков от одного барина и наткнулись на злое дело. В другой артели не то косарь, не то черт его знает кто, зарезал нашего же, должно быть, беглого брата, старика лакея, а лакей этот шел к морю с дочкой, маленькою девочкой. Убивца, чтоб ему пусто стало, старику перехватил глотку сонному, деньги отнял и убежал. Были, говорят, у него деньги небольшие, дрянь. Так девочка привела отца, еще полуживого, на Мертвые Воды: тот стонал с перерезанным горлом, упал на пороге там какой-то хатки и, говорят, умер, а на месте не мог назвать, значит, убивцы своего. Скверное это было дело. Мы сейчас сбежались, жалели; ходили смотреть и на девочку, и на умирающего, а у него были такие бакенбарды белые, так и торчали с телеги, как его повезли в город; сам худой да лысый. Страшный такой! Девочка не могла рассказать, откуда они убежали, и ее взял кто-то в приемыши.

В другом месте Милороденко беседовал:

— Да ты мне скажи, Харько: и вправду ты думал утопиться, как я тебя увидел на плотине и сманил? — Это было уже на последнем привале, ночью, в кустах дикого терновника, где они расположились понежиться уже повольнее и даже сами решились развести огонек.

Левенчук ничего не отвечал. Его серые, широкие, задумчивые глаза, при черных курчавых волосах, печально смотрели на догоравшие уголья, тогда как карие, веселые, наигранные, как у кошечки, и подвижные глаза Милороденко так и смеялись.

— Вылез я из камыша, — продолжал, хохоча, веселый вожак, — вылез, смотрю — человек сидит над водоспуском, плачет, охает, все озирается и хватается за голову. Шапку снял и уж ноги свесил над омутом... Ждал я, что будет, а ты все ближе к омуту, ближе да плачешь. «Тю-тю, дурный!» Ты и остановился. Расскажи же, брат, как это ты задумал, когда жену-то твою порешили, топиться в панской речке?

— Что ж, дядько, — начал Левенчук, — скажу тебе. Я ходил за овцами у пани; ну, ходил и ходил! скука там смертная была. Раз и зовет меня старая пани: «Харько, я тебя женить хочу!» — «Воля ваша, говорю, пани». — «Да ты не знаешь, на ком?» — «Не знаю». — «На Варьке, на дочке Петриковны! хочешь?» — «Воля ваша! — говорю, — а у самого сердце так и обдало! А Петриковна была ключницей у нашей барыни, проворовалась, ее и сослали на птичню. Пила запоем, с горя, эта старая мать Варькина. Повенчали меня с ее дочкой в числе других шести пар, разом. Барыня наша уж эти свадьбы всегда справляла зауряд, осенью, перед филипповками. Не знали мы и ни разу до свадьбы с Варькой, не говорили ни слова. Известное дело, я пас овец, все в степи и редко домой навевывался. Повенчали нас, посадили за стол, а потом спать положили...

Харько помолчал.

— Ну, дяденька, скажу я прямо: так стыдно было мне на свою жену глядеть, что больше году мы и вместе жили, и за стол есть садились, и уже любить-то я ее начал, а говорить еще по душе не говорили и не глянули друг другу в глаза прямо; все больше молчишь или перекинешься так, пустым словом, да и глаз от земли не поднимая. И рассматривал я ее, правда, уж через год. Пас я, как всегда, овец отару; бежит ко мне соседская девочка: «Дядько Харько! —

кричит, — тетка Варька сына тебе родила!» Не помню я, как допас овец до вечера; напоил их, загнал их в сарай, вбежал в хату, а в хате ладаном накурено, соседи чинно сидят, люлька висит у потолка, а Варька, лежа, качает с лавки ребенка. Я кинулся к люльке, она приподнялась. «Харитон! — говорит шепотом, — это наше дитя!» Мы взглянули через люльку друг на друга прямо и, склонясь над дитятею, заплакали и тихо поцеловались. С той поры мы на людей уж стали похожи. Люди радовались, и мы радовались. Да не довелось пожить счастливо. Съездила наша пани в город и купила новую молотилку, такую машину, с чугунным барабаном. А в прошлом году у нас сильная пшеница уродилась. Привезли эту машину, поставили на току в сарае и стали молотить лошадьми, а бабы солому отгребали. Мазали эту машину дегтем. Раз и моей Варьке загадали с другими идти до той молотилки; а сама наша пани всегда при работах стоит. Пока запрягали коней, пока пани от горниц приплелася, бабы и давай на выдумки. Та на коня верхом лезет, та в снопах перекидывается, а моя и говорит: «Где, бабы, мазница с дегтем? Давайте себе сапоги помажем!» — «Вон, говорят, под колесом!» Она и полезла. Подставила один сапог, смазала; стала и другой мазать. А тут кричат: «Пани идет, пани!» Машинист у нас кривой, подлец такой был, со злобы, что ли, повернул барабан, лошади дернули, колеса завертелись, а Варька рукавом и попала под чугунное колесо. Бабы кричат: «Стой, стой!» А он кричит на погонщиков: «Бей, гони коней! барыня идет! мы стоим, ничего не делаем». А Варька боится крикнуть, притаилась... Машина пошла... Ох, дядько! И вспомнить страшно... Застонала она, что-то захрустело... Прибежала опять ко мне в степь та же соседская дочка. Орет-голосит на всю степь: «Ты тут овец все, дядько, пасешь, а там уж твоей Варьки на свете не стало!» Бросил я овцу и прибежал на хутор. «Где, говорю, где?» — «На панском дворе!» Прибежал я в самую панскую горницу, а она-то, моя Варька, на полу лежит, и сама старая пани простоволосая над нею мечется... Куда тебе! Руку оторвало, и всю потрощило ее, мою сердечную,

в куски! Ох, дядюшка, страшно!.. Я как глянул, так и сам упал... Отлили водою меня... Похоронили ее, голубочку, а мне свиту новую справили. И впрямь: пани тут, пожалуй, сама и не виновата. Да уж я, как встретился с машинистом, глянул на него, а он глаза понурил, стал и говорит мне: «Иди своею дорогою, не смотри на меня: ты, как собака, злой». Зашел я в шинок как-то. Кучер наш гулял. Перепоил нас. Тут и машинист хабрился. Я и задумал недоброе. Уж не смог я эту овцу в степи больше пасти. То, бывало, ходишь день-деньской по жару, печешься, есть-пить хочется, вода в баклаге теплая, прогнившая, овца собьется в кучу... Сядешь; кругом ни души, — одно марево огнями переливается да овражки свистят. Скука... руки бы на себя наложил! Делать, работать не хочется; да и что сработаешь, ходючи без усталости? Разве ложку какую выдолбишь! А все прежде жилось. Вечер-то, вечер! хата! — так и манят. Придешь, и все забыл. Ляжешь возле нее, прижмешься к ней, а в хате чисто, травами сухими пахнет, постель белая; она смеется, шепчет тебе сладким шепотом — и до утра иной раз не спишь! Ну, меня и повело, как Варьку порешили. Ох, дядько... боюсь! Не допытывай меня... Ну, что же?.. так-то вот раз нашли машиниста под селом убитого; волки уж и голову ему объели. Порешить себя тут задумал и я... Сперва удавиться хотел, а потом утопиться. Люди меня усовещивали; суд допытывал. Это я уж в третий раз над омутом-то сидел! Грешное дело: и спасибо тебе, Василь Иванович, что ты меня избавил!.. А все как-то жутко еще, и мерещится все недоброе... Без руки лежит, вся потрошенная, покровавленная на панской молотилке... А собаке — собачья и смерть! Не я его убил. Должно быть, чужой кто. Он все шатался по любовницам по ночам. Ну, а тут уж прямо меня подозревать стали, люди начали обходить меня. Затаскали по допросам. Пани в солдаты погрозила отдать. Я и сам стал как неживой. Как собака голодная мыкался. Много наших разбрелось из хутора в разные годы, а сам не решился. Все думал: как уйти? И в голову не прибиралось.

— Вот постой, постой, Хоринька, как придем да как помещу я тебя в неводчики, при рыбных ловлях или в какую косарскую артель, — добром помянешь, любезный человек! А вот я так иначе бегал...

— Как же ты, дядюшка, бегал? — спросил уже несколько спокойнее, как бы облегча душу, Левенчук, помолвившись вслух на восход солнца впотьмах и ложась спать у окончательно потухшего костра.

— А вот как я убежал впервбе, — начал Милороденко, весело закидываясь навзничь и потягиваясь под кустом, — моя сказка, простой ты человек, короче. Видишь ли, ты еще теперь настоящий хохол, а я уж и тогда был натертее, — в лакеях, значит, обретался и по-господски говорил как следует. Ну, скажу тебе по правде, ничто меня всегда так не манило, как, выходит, крупчатый хлебец, то есть, значит, бабье дело. Ну, простота, черт меня и попутал до конца! Прошлялся по Таганрогу; а тут и изловили меня полицейские на базаре; домой переслали, вздули, брат, это меня опять по всем порядкам. А тут опять душа пить попросила... Влюбилась в меня, до побегу еще значит, племянница самого барина... да!

— Что ты? Ах, братец ты мой! — даже вскрикнул с испугу в темноте Левенчук и вспрыгнул на корточки.

— Эх, дурачина ты, брат, дурачина! Ну, чего смотришь так? Вот то-то и дело, что ничего! — продолжал, вольготно потягиваясь, Милороденко, — это почти то же самое дело, никакой разницы нету, кроме опчей, значит, чистоты... Просто, ровно ничего! Сперва я хаживал к барышне в окошко; в саду видалися; воду, зонтики ей туда носил; а там дело узнали, заперли меня; барин в кандалы хотел заковать, сослать задумал; да увезла она меня к своей матери: там в приживалках у какой-то енеральши мать эта жила. Выкрала меня барышня из амбара. Выли, выли старухи хором, совещались, душечка ты моя, с разными господами и чиновниками и решили нас, братец, попросту, тоже повенчать. Да! чего ты это смотришь? именно повенчать; мне выхлопотать обещали вольную. А барин

и заартачился. «Не дам, говорит, она наш род опозорила, с холуем повязалась, так пусть останется моею холопкою-крестьянкою, коли венчаться хочет!» Ну, нас не повенчали. Так мы и остались. Зажили это мы с нею, не скажу весело, а сносно. По богомольям ездили; я в манишках, в перчатках, как следует, хожу; трубку при господах курю, даже фрак мне справили! Только и стала меня ревновать эта моя барыня-подруга. И не буду я тебе, душа, много рассказывать. Один-таки пьяный поп нас повенчал. Любобью да ревностью задала тогда мне моя жена за год такой копоти, что я и призадумался. Оно, конечно, я спал на пуховиках, ел сытно; наш же Сережка, с которым я прежде в бабки играл, кушать нам подавал. Я ему кричу: «Э-эй, малый, трубку!» А он ни гу-гу; в сених только иной раз кулак, шутник, покажет. Жили мы в городе, на краю, на квартире у дьяконицы. Иной только раз завалишься в кабачок и закутишь с мещанами и с мужичьем; деньги были. Я вакштаф курил, говорю тебе, в карты в прифيرانец с чиновниками вывчился, в халате сидел по целым дням. А она все меня целует да мучит ревностью. «Ты, говорит, Матрону нашу прежде любил, с Парашкой знался! Правда это? Признайся, говорит, признайся!» Да все грызет и плачет. Опротивела она мне; стал я и бивать ее подчас. А люди добрые, мошенники городские, и посоветовали: «Обокрадь ее, да и убежи!» Ну, красть я не крал, а бить, — отпорол единожды в спальне нагайкою; сказано, опротивела мне, так за косы ее и таскал, бимши. Она ничего, стала тише, руки мне целует... А тут я и получил из Таганрога записочку от одной красотки: там в модницах жила, и мы в бегах знались. Взманула меня опять волюшка. «Эх, — подумал я, — бес вас заברי, похувики да супы, да лежанье одно, да панские рассказы!» Стал я больно суров... У! натерпелась она тогда от меня! А на втором году я и дал тягу, уж окончательно, да с той поры ее и не видел.

— Что же, дядько, а она где теперь стала?

— Умерла, скажут, братец, в скорости, без меня! Ведь это давно было. Я холост уж вот четвертый год.

Возвращался к барину. Да уж в другой раз не поладили. Сильно я ему грубил и досаждал. Барин повестки обо мне разослал, как я бежал. Ловили меня, приводили снова раз к нему; жены я не застал уж тогда. Соседи советовали ему: «Дай вольную Ваське!» Не дал! Ну, а я уж, душечка, подумай, покурил вакштафу, — домой-то, значит, к пану своему больше и не хотелось. Ну, с той поры по сей день, четвертый год, и состою в бегах. Детей, видишь ли, не произвел, не осталось. Родня женина срамится, должно быть, и вспомнить меня. Хоть и мне страшно вспомнить это их всех. Скверные, братец, люди! Да я-то теперь уж разбогатеть хочу, показать себя им всем, что я за человек! Что ж, что я холоп, так и не венчать? Пан вольной не дал, ну, и стеснил тем нас. А будто трудно было подмахнуть бумагу? Ну, я же им это покажу, и без них обойдемся! Разбогатею вот как! Сторона это такая, что только трудись, — золото лопатами тут все загребают...

Оба товарища на этом заснули. Ночью Левенчуку все казалось, будто что-то шелестело в степи, точно конь близко где-то силился оторваться от привязи, оторвался и, фыркая, все бегал впотьмах. Раз он открыл глаза. Над ним висело темное-темное, усыпанное звездами небо. Голос какой-то птицы уныло охал вдали. Кузнечики трещали. А в мыслях его было смутно. Глаза горели, в висках стучало. Покинутая родина и чужая даль сжимали бедное, напуганное сердце.

Разбудили их песни жаворонков и все крылатое население степи, сверкавшей под каплями крупной утренней росы. Голубые туманы переливались вдали. Слева шли волнистые зеленые косогоры. Справа синело не то море, не то та же бесконечная, будто в гору идущая степь. Что-то отдавалось уже не украинскими, простыми и тихими картинами, а чем-то иным...

— Видишь эти пустыри? — допытывал Милороденко, — много я тут помыкался! В Москве теперь я пожил два года, а сколько уже здесь перемены. Вон, видишь, уж хуторок лепится над балкою, садик разводят, пруд мигом

вырыли, мельницу-ветряк ставят, панские горницы строят. А два года назад тут одна степь была. Теперь и дорогу туда протоптали. Так и при запорожцах тут заимки занимали. Вся наша и земля тут старозаимочными хуторами стала. Наши предки с тобою тоже сюда пришли и закрепились. Ну, а мы с тобою уж теперь вольные...

Миновав еще два-три пустынных аула, пешеходы вошли в область разнообразных новороссийских колоний и под вечер очутились у знаменитого порубежного в крае шинка Лысой Ганны, которого так боялся Милороденко. В шинке и кругом шинка, близ байрака, сновали какие-то люди. Фургоны стояли, волю паслись, верблюды шагали к водопою. Мелькали татары в бараньих шапках. Двери в шинок были распахнуты настежь. Волянка и две скрипки бренчали у крыльца. Музыканты были слепые нищие. Старший из них затягивал под музыку песню: «Ой, фортуно, фортунонько! де до тебе стежка?» Милороденко ввел Левенчука в шинок, ткнул пальцем на бородатого жидашинкаря, сказав: «Вот это ж и Лысая Ганна!» — узнал двух-трех соседних знакомых и заметался.

— Всечестнейшая и преблагородная компания! — сказал он, — целуйте меня, я Александр Дамский и опять между вами. Лейба, шельма, водки!

— А! это ты, Дамский? — отозвались его приятели из посетителей Лейбы, все народ мрачный и бедовый. — Где был? откуда пожаловал?

— Из Киева, антихристы, из Киева; а был и в Москве, милочки. Дважды нажился в это время и дважды продулся! Да меж вами доносчиков нет?.. Тронь меня, я и ножом теперь пырну — не замай! жить хочется, жить давайте мне — я теперь вольный человек! Пришел это мимоходом к барину к своему на хутор, говорю: «Полно биться, будем мириться». А он, как положил, и всыпал мне двести. Я опять тягу.

Чего только не делал тут Милороденко. Помня зарок приятеля, Харько сперва было воспротивился просьбам его дать денег. Но уже Александр Дамский хлебнул горь-

кухи и преобразился. Про розги и свидание с баринном он врал для шегольства. Из веселого и кроткого человека — это стал зверь: ноздри раздулись, лицо побледнело. Он свистал, прыгал, давал приятелям пинки, кричал: «Воля, воля! Я ведь вольный!»

— Ах ты хохол-свинопас! — крикнул он на всю хату Левенчуку. — Слышите, добрые люди, денег не дает! — И ни слова дальше не говоря, попотчевал сопутника страшною затрешиной, дал пинка в спину, а потом в живот... Со сверкающими глазами, со скрежетом зубов и растрепанный, отнял он под вечер у перепуганного и избитого Харько все свои деньги и пустил пир во все заставки.

Левенчук ждал два дня, наконец выпросил у шинкаря кусок хлеба и пошел куда глаза глядят. Событие с ним никого не удивило. Его насмешливо обходили как новичка.

Приставши безмолвно к первой партии косарей, он обрадовался, что его ни о чем не спрашивали и ему ничего не говорили, и прокосил у какого-то колониста более недели. Потом его направили по соседству, к помещику, полковнику Панчуковскому.

Левенчук пошел указанною дорогой, скоро нашел на Мертвых Водах Панчуковского, увидел среди степи его новый красный кирпичный дом, кругом которого возводили высокую каменную ограду, а в стороне кирпичную с фронтонами и под железною крышею огромную овчарню. Вся усадьба, как видно, только что обзаводилась и напоминала скорее ирландскую или саксонскую ферму, чем украинский заднепровский хутор. Левенчук пришел прямо к панскому крыльцу, где уже ждали другие. Вышел господин молоденький, с белокурыми усиками, франтовато одетый.

— Здравствуйте, ребята! — сказал он бойко, по-военному. — Много вас пришло?

— Шестьдесят, ваше высокоблагородие.

— И все больше нашего поля люди? — спросил и весело подмигнул полковник.

— Точно так.

Полковник, уверявший всех, что тот не хозяин, кто не вырос под крепкою командой и сам не выучился повелевать, умел-таки владеть приходящими к нему.

— Ну, милые люди, будьте же гостями! Завтра сенокос за речкой; у кого пачпорта нет, тому цена полтина ассигнациями в день; у кого есть — полтина серебром. Ступайте в контору, выпейте по чарке водки и пока марш на ток молотить!..

— Рады стараться! — гаркнули пришедшие и пошли в контору, хваля ласковость и бойкость умелого господина.

Левенчук в конторе записался на месяц. Взволнованный и все еще в тумане от небывалой новой жизни, он очутился с хозяйским цепом в руках на току, стал постукивать по снопам, глянул в сторону и обомлел... Милороденко! Он глазам своим не верил. В какой-то дырявой нищенской свитке, с бледным испитым лицом и потускнелыми глазами, брошенный в шинке Лысой Ганны неделю назад, его вожак и товарищ был уже тут и также тыкал цепом в снопы, в двух шагах от него. Улучив минуту, Харько поровнялся с ним и шепнул, подсмеиваясь и вместе пугливо посматривая на него:

— А что, дяденька, и вы тут?

— Тут, — отвечал тот со вздохом и, тихо повернувши тусклые и испитые глаза за клуню, кивнул туда головой. Оттуда неслись хлопанья кнута и крики. Кого-то секли, а полковник, громко считая удары, приговаривал в антрактах наставления, то сердясь, то весело причитывая прибаутки.

— Кого это, дядюшка? — спросил пугливо Левенчук.

— Товарища там нашего одного; я угомонился, видишь ли, а тот и сегодня пьян напился, и барину здешнему нагрубил на работе, да и с приказчиком тут не поладил...

— Так и здесь, дядюшка, секут? Тут же мы на воле?

— Ох, и тут! порядки эти и здесь заводятся, видишь! Давно я тут не был; ну, без меня оно так и стало. Да ты на то не смотри: полковник добрый человек; отчего же и не посечь дурака, нашего брата? хуже, как в стан<sup>1</sup> явит, а ты беглый!

---

<sup>1</sup> Полицейский участок.

— По чем же вы стали? — спросил Левенчук.

— По гривеннику...

— Отчего так мало?

— Среди недели, видишь ли, пришел и одежду еще хозяйскую занял. Что делать! И на это тут иные порядки на беглых стали. Прогорел я; ну, да авось поправимся скоро!

— Вы же толковали про мед да сало, дяденька? Где же те горы и места, что кормят и поят вдоволь, и где та воля живет и сама промежду людьми ходит? И тут, как у нас на панщине!

— Э, подожди, не все разом! А пробовал, Хоринька, борщику с салцем или с свежей таранью? Тут поблизости и ловят эту рыбу. А?..

— Пробовал.

— А что, вкусна?

— Рыба вкусна, да и работа вкусна; у нас дома так рано не встают и поздно не ложатся. Тут все построже. Загляделся — и гонят. А рыба вкусна...

— То-то же, голубчик Хоринька! Да слушай: как бы опохмелиться? Откажись сегодня от порции своей для меня... Я тебя отблагодарю; а с завтрашнего дня уж я ни-ни... ни капли! Ведь ты знаешь, что я только тогда пью, как сюда на волю вырвусь! Прости ты и мои побои в шинке. Сказано: человек дорвется до безопасности, паном стал сам, ну, и пропадай душа!

Хоринька отказался от своей порции, и Милороденко опять повеселел, хотя цепом стучал по снопам до вечера молчаливо и никого не смешил и не озадачивал своими шутками.

Дни потекли незаметно. Вся почти артель полковника, человек до двести, состояла из беглых; они часто менялись, уменьшались в числе. Были из них и постоянные, нанятые по годам и более. Тут был значительный риск. Они жили в особых избах и землянках. Пуританские чистые нравы этого народа не допускали на работе никаких споров и ослушания. Все шло, как на ученье рекрут, и на глазах самого свирепого командира. Ночевали летом работники под от-

крытым небом, где-нибудь поблизости в овраге; прятались в току или в овчарном сарае. Становой, купленный здесь недешево, очевидно, нарочно сюда не заглядывал. Но жизнь беглой артели была вечною тревогою, вечным ожиданием. Вот налетят — в кандалы, по этапу — и марш обратно в постылые хутора, на работу!.. Расплачивались с бурлаками еженедельно по субботам. Зато в воскресенье было уже их время. Иные и тогда работали за половинную цену, другие расходились по соседним и дальним шинкам попить и побалагурить с наплывными же, беглыми девушками.

— Да! — говорил какой-то рябой в красной рубахе богатырь, также из беглых, нанявшийся у Панчуковского, — вы вот, ребята, спокойны: полковник — человек-огонь, и начальство свое, должно быть, для нас убажывает! А вот я наемни у немца за Мертвою молотил, слышим — звенит колокольчик. Немец вбежал, кричит: «Кто бродяга, марш в поле!» Мы, бурлаки, по-за скирдами да в ров. А становой за нами, всех перевязал... Насилу откупился немец: пятьдесят червонцев, скажут, дал. У моего пана на Ворскле я кучером был, уж тот за нас так не потратился бы...

— Ну нет! — беседовал, в свой черед, покуривая трубочку, Милороденко, — как им, чиновникам, не разыскать нас, коли б сами паны не думали откупиться за нас! не то что людей с собаками, — собак людьми отыщут, коли захотят! Чутье уж у них такое! — Толпа захохотала.

— Как так? Расскажи...

— А вот как. Был у нас не тут-то, на вашей вольной земельке, — а у нас, в панской нашей Расее, был в уезде судья, отличный, распридобреющий и еще молодой человек, и жена у него писаная красавица; наехали раз к судье гости, значит, ближние и чужие дворяне, и вскорости пропала у него, после их съезда, пара лучших собак, — а он был завзятый охотник. Не было тогда судьи дома. Кто украл? — «Кто-нибудь из гостей, значит, побаловал!» — «Ну, красть дворянам не полагается!» — думала судыха; да, долго не думав, выследила через людей дорожку в соседнюю губернию, куда увели собак, велела запретить карету, села сама молодочка, да и покатила

туда. Уговорила тамошнего исправника, подъехала к тому господину, попросту, значит, укравшему собак, сама остановилась на селе, а исправник пошел к нему да и накрыл собак, в самой, то есть, спальне у пана, там — под его брачною кроватью; первое время он там держал собак — погони боялся. Взяла тогда барыня собак, посадила их с собою в каретку, отблагодарила исправника и поехала. Так-то!.. Не унесут тебя ни лисьи хвосты, ни собачьи пятки, коли тут тебе сами кавалеры не помогут... Этакая судыха, хоть кого найдет!

В первое же воскресенье Левенчуку удалось быть близ одной соседней приморской зажиточной слободки, в одинокой заимке, на песчаной косе, на свадьбе одной девочки, вышедшей за неводчика, как видно, из беглых. Отец ее тоже был наплывной, из беглых. Левенчук не верил своим глазам. Невеста и ее подруги, соседние вольные крестьянские девушки, сидели в кисейных французских платьях. Молодая венчалась в шелковом канаусе и в наколке из бархатной синели. На свадебном столе стояли тарелки с конфетами из Таганрога. Гостям разносили кизлярское, а бродячие музыканты играли польку и кадрили из самоновейшей оперы Верди, завезенной прямо из Тосканы в Одессу.

— А-а? ведь все из вольных, либо из бурлаков! — шептал Милороденко очарованному Левенчуку, когда они протерлись в толпу смотреть на молодых, — посмотри, все девки сидят в перчатках, а молодой при часах!.. Это, друг, не чета нашей хохландии, где потом пахнет от каждой, братец, девки, как от козла!

На крыльце же, на свежем воздухе, в толпе усердных слушателей, какой-то тщедушный, загнанный старикашка рассказывал, какой у них в селе, возле Тамбова, генерал был: «Как подашь ему это, бывало, либо трубку в пыли, либо воды теплой напиток, — так и пустит в тебя чем попало, трубку, стакан ли, тарелку ли, что держит, так в рыло и угодит тебе. Мне морду раз окровавил так, что стыдно было в люди показаться!»

— Скоро воля будет, пачпортов не будет, — мрачно говорил другой, — не будет неволи, и пачпортов не будет.

— Ну да, в Нахичевани теперь и то их всякому продают! — откликнулся на это кто-то, — значит, воля близко!

— Э, братцы! — говорил возле долговязый парень из толпы, в нанковом жилете и пальто, купленном у какого-то жидка на торгу, — как затеял бежать я сюда, наша барыня будто подопрела; вот сущее слово, подопрела, точно снежок по весне подалась. Старосте чай стала давать, нам водку на работе! Да нет, теперь уж шабаш!.. Шабаш, не пойду!

Музыканты заливались. Скрипки весело пиликали. Разносился пунш с кизляркой. Пьяный соседский повар, накормив всю компанию, с важностью барина пыхтел и курил трубку из длинного армянского чубука, развалился у крыльца, на травке.

— Медам, медам! пермете-с ангаже<sup>1</sup>, — полька! — говорит кто-то, взяв смазливую горничную под руку и идя с нею сквозь толпу. Толпа на эти слова громко захохотала. Левенчук посмотрел — Милороденко.

— Ты и по-иностранному знаешь?

— Знаю! Супруга вывчила.

И долго шли танцы под вербами.

Месяц осветил двор хаты и ряд крыш слободки. Толпа прогуливалась. Девицы хихикали. Милороденко, натанцевавшись польки, утирал пот с лица.

— Да вы бы, сударь, трепака ударили! — говорили ему зрители.

— Нельзя, я барином два года был: трепак — холуйское дело.

Поздно ночью он нашел товарища.

— Что, Харько, все о своей Варьке думаешь? Чего осовел? — свирепо спросил он Левенчука, — глянь, какое веселье! А ты все о Варьке своей, о бабе покойной убиваешься, — а?

— Нет, не о Варьке, а так — скучно!

— Глянь-ка на молодую: что за красивая бабенка! хочешь, и тебе сматерим? — спросил Милороденко. — Тут только мигни, можно!

---

<sup>1</sup> Сударыни, сударыни! позвольте-с пригласить (*фр.*).

— Нет, скучно мне, — ничто не манит! Да ты и смелее меня; а мне все как-то жутко...

— Ну, так поцелуемся!

И приятели обнялись.

— Так будем трудиться, чтоб разбогатеть; богат — значит, волен!

— Будем. Надо устроиться, а то все страшно — стало строже все...

— Спасибо за дружбу! — добавил Милороденко, — а за уступленную порцию — тогда, помнишь? — вдвое спасибо! Я не забуду тебе этого, Хоринька. Кликни только, встретимся ли, нет ли: удружу и я тебе! Помни! А теперь дам совет: хочешь на лиманы, на Дон, к морю?

— А что?

— Там скорее деньгу теперь зашибешь: там контрабанду теперь свозят.

— Нет, погоди; огляжусь прежде здесь... Ты смелее меня — ты дока на все...

— Ну, как знаешь. А за водку спасибо. Не забуду тебя. Я же, брат, прощай! Товарищи передали, зовут к неводам, в гирла донские. У меня, коли тихое житье, скучно; я уж попорченный. Мне давай такую волю, чтоб хмелем прошибало, чтоб дух от нее захватывало. Там и страшно, да зато же и заработок хороший. А мне уж пора и на старость что припасать; нору свою завести. Хоть бы так, зернышка какого, как зайцы на зиму припасают да суслики... Недаром же я теперь навеки бросил и барина, и всех своих! Хочу остепениться, земли после куплю.

## II

### БЕГЛЕЦЫ ВЫСШЕГО ПОЛЕТА

Прошло три года.

Была прелестная степная майская пора. По дикому и пустынному пути между Днепром и Мелитополем быстро скакал в колясочке, на четверне добрых лошадак,

видный и веселый блондин в широкой соломенной шляпе, с бородкою и в светлом пикейном сюртучке. Его можно было принять за горожанина-афериста или помещика. Он рассматривал виды по сторонам дороги. Фу, какая глушь! Ногайско-татарская степь шла вправо и влево, изредка только волнуясь и склоняясь погорелыми от зноя травами, камышами и песчаными косами к синему, ярко горевшему морю. Здесь по приземистой траве мелькали высокие светло-желтые, синие и красные цветы, сплошь заливая собою необозримые поляны. Как бы вы ни смотрели, куда бы ни кинули напряженный взор — одни поля, голубые холмы у небосклона да мелкие, в огненной лазури потопленные облачка. Кое-где только темнеют вдаль, по сторонам, одинокие овчарни, откуда, завидя редкого путника, вдруг кинутся стаей громадные пастушьи собаки, темными черточками вытянутся по степи и вот-вот, кажется, наступают вас. Но расстояние так далеко, что они скоро остановятся и, свернувши свои косматые хвосты, возвращаются назад. Белыми пятнами ходят бесчисленные дрофы по диким, плугом не тронутым пустырям. Коршуны высоко плавают в небе. Пестрые флегматические аисты сторонятся от дороги, чуть не задеваемые колесами, да широко раздается во все стороны вечный свист, стон и шорох степи.

— Самусь! это будто едет кто нам навстречу? — спросил барин кучера. Седой как лунь кучер наставил ладонь к глазам.

— Бог его знает, что оно такое! не то колонист на телеге, не то коров гонят! Тут его никак не разберешь, что оно в степи.

Скоро путник разглядел в мерцающей дали известный зеленый, на железных осях фургон колонистов и в нем ездока и возницу. Фургон остановился, путники что-то в нем поправляли.

— Что, обломались? — спросил господин из коляски, приблизясь к фургону.

— Чека соскочила, — ответил колонист, — с кем имею честь говорить?

— Полковник гвардии в отставке Владимир Алексеевич Панчуковский. А вы кто, позвольте узнать?

Колонист снял шапку и ответил, отчетливо выговаривая по-русски и улыбаясь:

— Колонист, Богдан Богданыч Шульцвейн, из-под Орехова, из колонии Граубинден, коли знаете; еду теперь из-за Ростова.

— Очень рад познакомиться. Не курите ли? Вот вам сигара, Богдан Богданыч, чистейшая кабанас...

— Нет, я вот сарептский; я нюхаю-с! Это — табачок очень тоже ароматный. Мы его сами и сеем в колониях наших-с.

— Что нового на море? Что хлеб?

— С пшеницей вяло, с льном крепко; сало идет вверх, фрагтовых судов мало, конторы жмутся.

— Ай! это не совсем хорошо!

Сели путники на травку, достали кое-какую закуску. Кучера тоже познакомились, закурили тютюн и повели беседу.

— Куда вы, собственно, ездили? — спросил небрежно Панчуковский, не смотря на простоватого, засаленного собеседника и покручивая хорошенькие русые усики. Он устал от дороги. У его товарища между тем, хотя уже пожилого человека, румяное полное лицо так и отливало густым молоком менонитской, некогда питавшей его кровной коровы; фланелевая фуфайка была чистейшего табачного цвета, синяя куртка вся в пятнах, а синие штаны были засунуты в высокие купеческие сапоги, не без аромата дегтя.

— По делам-с, господин полковник, — известное дело, мы минуты свободной не имеем: либо дома мозолим руки, либо по степям оси трем на своих фургонах.

— Какие же у вас дела? — спросил еще небрежнее полковник. — Все, я думаю, насчет картофеля? «Картофель унд пантофель»<sup>1</sup>, как мы говаривали еще в школе надзирателям из вашей братьи?

---

<sup>1</sup> «Картофель и домашние туфли» (нем.).

- Как какие? всякие. Мы народ торговый-с.
- Значит, и овощами торгуете, и салом, и табаком?
- Торгуем всем! Всем, либер герр<sup>1</sup>, всем!

Колонист встал помочь кучеру перепрячь лошадей. Полковник прилег на траве, поглядывая с улыбкою на уходившие пятки товарища, подкованные медными гвоздями, и помышляя: «Вот стадо баранов! Я думаю, женился в семнадцать лет, и жена его теперь тоже на овцу похожа, — ест индеек с медом, чулки даже во сне вяжет!»

— Что же у вас за дела, скажите? — опять спросил он колониста, подсмеиваясь.

— Да что, батюшка, — на днях купил я землю, вот что неподалеку от Николаева, близ поместья герцога Ангальт-Кеттен: съездил потом на Дон принанять степи для нагула овец, да не удалось — надо подождать, когда снимут сено; а теперь еду купить, коли придется, с торгов, в Николаеве наши бывшие батареи, то есть разный хлам с севастопольских батарей: дерево, обшивку, брусья, а пожалуй, и чугуны. Наше дело коммерческое: что попадет под руку, всем торгуем. Ничем не пренебрегаем и времени не упускаем. Вы знаете нашу поговорку: морген, морген, унд ниht хёйте...

— ... Заген алле фауле лёйте?<sup>2</sup> Как не знать! Но скажите, зачем вам еще степи за Доном? Где, позвольте, у вас собственная-то земля? Извините, я не расслышал...

— Мейне эйгене эрде<sup>3</sup>, моя собственная земля есть и под Граубинденом, и в других округах, да места стало уже нам, колонистам, мало. Так-то-с, не удивляйтесь! Наши кое-кто уже в Крыму ищут земель, на Амур послали депутатов присмотреться насчет занятия земель под колонии. Засуха — ну, и надо перегнать часть овцы на лето за Дон.

— Сколько же у вас овечек? — спросил Панчуковский, пощипывая усики и смотря на это кроткое, румяное лицо,

<sup>1</sup> Милейший (нем.).

<sup>2</sup> Завтра, завтра, не сегодня... так ленивцы говорят (нем.).

<sup>3</sup> Моя собственная земля (нем.).

и зевнул. — Да не хотите ли масла, колбаски? Вот вам масло, вот хлеб! Я совсем устал от дороги. Не хотите ли? вот ножик. Я тоже все хлопочу, строюсь...

— Благодарю! — ответил кудрявый колонист, оправляя свои белокурые, с проседью уже немецкие пейсы, выбивавшиеся из-под барашковой шапки, и принимаясь за масло, — у меня овцы довольно, о, очень довольно...

— Сколько же?

— У меня семьдесят пять тысяч голов овцы в разных местах-с...

Панчуковский приподнялся на локте.

— Что-о-о? Как-с? Сколько? Я не расслышал! — сказал он и заикнулся, подобно незабвенному Манилову, некогда пораженному сказочной профессией Чичикова по покупке мертвых душ.

— Семьдесят пять тысяч голов-с мериносов! — ответил опять смиренный собеседник и стал копаться в котомке, укладывая остатки провизии. — Но, мойн либер герр, как здесь ни хорошо, а скучновато; все в Германию тянет... Мы здесь чужие!

Дух захватило у Панчуковского. Мигом в его голове мелькнули соображения: «Если у него семьдесят пять тысяч мериносов, то сколько же он должен получить дохода? На худой конец по целковому с головы, итого семьдесят пять тысяч рублей серебром. Двести пятьдесят тысяч рублей ассигнациями, четверть миллиона в год!»

И он окинул взглядом колониста с головы до ног, как бы соображая, как такое засаленное существо могло владеть таким богатством, и прибавляя про себя: «А ведь все-таки, наживясь, уйдет в Германию! сколько волка ни корми, улизнет в лес...»

— Да вы не шутите? — сказал он и сел.

Колонист засмеялся. Белые зубы, напомнившие коро-ву, так и ослабились до полных загорелых ушей.

— Нет, не шучу!

Панчуковский, летевший из Петербурга в степи за живой, бросивший для барышей модный свет, щегольских

товарищей, оперу, Невский проспект, французские водевили и комфорт всякого рода, — невольно вздохнул, придвинулся к собеседнику, вертевшему в грубых руках замасленную барашковую шапку, и сказал:

— Вы колонист, и я колонист. Мы оба Колумбы и Кортесы своего рода, или скорее бродяги и беглецы из родных мест за наживой. Мы колонизаторы дикого и безлюдного края. Нам тесно стало на родине, на севере — ну, мы и бежали сюда. Ведь так?

Колонист аккуратно и громко высморкался.

— Э! что тут говорить! Как ни говори, а немцы вам нужны. Вот, мы первые здесь овцеводы. Земля тут прежде гуляла, а теперь не гуляет. Наши колонии садами стали, мы вам леса разводим, оживляем ваши пустыни...

— Сколько же у вас земли? — допытывал полковник.

— Около тридцати тысяч десятин собственной; а то еще арендую у соседних ногайцев и у господ дворян. Фриц, достань мне табачку и табакерку! — крикнул он кучеру, — на дорогу свеженького подсыплем. Так-то-с!

Долговязый Фриц принес кожаный мешочек и стал сыпать табак в табакерку хозяина.

Колонист, между тем, еще присел, опять намазал масла на хлеб, присыпал зеленым сыром и сказал:

— А вы здешний? Зачем вы службу бросили? Вам уже скоро и генералом бы легко быть!

— Я тут тоже теперь кое-чем маклакую. Хутор устраиваю, землю купил, хлебопашество наймом веду. Ведь я тоже, повторяю вам, колонист, бродяга; бросил старый скучный север.

— Ну, так будем же знакомы. Мы одного поля ягода! Ваша правда-с! Только станет ли у вас столько-с охоты и труда? У меня и свои корабли теперь тут есть. Два года уже, как завел. Сам на своих судах и шерсть с своих овец прямо в Бельгию отправляю.

— Ах, как все это любопытно! Позвольте: у вас, значит, и свои конторы есть в азовских портах, в Бердянске, в Мариуполе, в Ростове?

— О нет! Это все я сам! — говорил колонист, чавкая и добродушно жуя хлеб с маслом. — Зачем нам конторы? Я поеду и отправлю хлеб или шерсть; потом опять поеду и приму заграничный груз. А то и моя жена поедет. О, у меня жена добрая!

— Как, и она? ваша жена тоже коммерцией занимается?

— Да; вы не верите? вот зимой из Николаева она мне на санках сама привезла сундук с золотом; я хлеб туда поставлял. Так вот, запрягла парочку, да с кучером, вот с этим самым Фрицем, моим племянником, и привезла. Зачем пересылать? Еще трата на почту...

Полковник посмотрел на Фрица: рыжий верзила тоже смеялся во весь рот, а колонист, как на товар, приглядывался на шегольской наряд красавца полковника, на его перстни, пикейный сюртучок, лаковые полусапожки, узорные чулки, белую соломенную шляпу и первейшей моды венский фаэтончик. Два давнишних противоположных полюса русских деловых людей, эти два лица сильно занимали друг друга.

— Вы отлично говорите по-русски, — сказал полковник, — давно ваша семья переселилась, или, так сказать, бежала из родной тесноты в Россию? Извините, это меня сильно занимает; повторяю вам снова, я тоже ваш собрат, переселенец, а по нашим русским понятиям — беглец! Мы теперь тоже за ум беремся, да уж не знаю, так ли? Что-то в нас много еще дворянского; может, оттого, что мы беглые по воле, с паспортами.

— Мой дед, видите ли, переселился при графе Сперанском, около сорока лет назад; мы пешком пришли сюда, с котомками, дед и отец мой несли старые саксонские свои сапоги за плечами, а отец мой после него еще двадцать пять лет был у нашего же земляка Фейна простым пастухом. Я тоже в юности-с долго был при стаде вашего Абазы. Земля, правду сказать, тут обетованная, не тронутая еще; многих еще она ждет. Раздолье, а не жизнь тут всякому; ленив только русский человек! Эх, гляньте, какая дичь, какие пустыри: бурьян, вечная целина, — ни косы, ни плуга

не знала. Люблю я эти места: будто и бедные, а троньте эту землю — клад кладом.

Полковник спросил:

— Какой же секрет в том, что вы так скоро, так страшно разбогатели?

— Секрет? никакого секрета! Даже трудно сказать как. Как? просто трудились сами, и все тут.

«Сами трудились! — подумал Панчуковский. — Врет, шельма, немец; должно быть, фальшивые ассигнации в землянках делали, да ловко и спускали!»

Просидели еще немного новые знакомцы. Степь молчала, вечерело. Не было слышно ни звука. Одни лошади позвякивали сбруей, да несло тютюнищем от новых друзей-кучеров.

— Я и не спросил вас, — сказал на прощанье Панчуковский, — вы ездили за Дон; были вы у нас на Мертвых Водах, за сороковую болгарскую колонией? Как понравился вам наш околоток? Можно ли ждать чего хорошего от этой местности?

— На Мертвых Водах? На Мертвых... Пойдите! Да! Точно, я там неделю назад ночевал... у священника... Пойдите, погодите...

— У отца Павладия?

— Так, так, у него именно! Что за славный, добрый старик! и какой начитанный! Нашего Шиллера знает; еще такая у него красивая воспитанница. Сам он ее грамоте учит, и она при мне читала и писала. Как же можно, — хорошие места!

— Как? воспитанница? — возразил, краснея, полковник, — что за странность! Это прेमилло! Я живу от отца Павладия в семи верстах, а не знаю.

— О-о, полковник! так вы волокита! — засмеялся, влезая в фургон, колонист и погрозился. — Смотрите, напишу отцу Павладию и предупрежу его!

— Нет, я не о том; но меня удивило, как я живу так близко и ничего не знаю! В нашей глуши это диво. А вы будто бы и не охотник приударить за иною гребчихой, в поле?

— Э, фи! У меня своя жена красавица, полковник.

Новые знакомцы будто сконфузились и помолчали.

— До свидания, полковник.

— До свидания, герр Шульцвейн!

Лошади двинулись.

— Не забудьте и нас посетить: спросите хутор Новую Диканьку, на Мертвой.

— С удовольствием. А где он там?

Лошади колониста остановились. Полковник к нему добежал рысцой и рассказал, как к нему проехать.

— Есть у вас детки? — спросил полковник, став на подножку и свесясь к колонисту в фургон.

— Есть две дочери: одна замужем, а другая еще дитя.

— За кем же замужем ваша старшая дочь, герр Шульцвейн?

Колонист покачал головой и прищурил голубые глаза.

— Вы не ожидаете, я думаю?

— А что?

— За пастухом-с. Я выдал дочь мою за старшего моего чабана, Гейнриха Фердинанда Мюллера, и, либер герр, нахожу, что это — сушая пара. Отличный, добрый зять мне и знает свое дело; пастух и вместе овечий лекарь. Живут припеваючи, а дочка моя все двойни родит!

Полковник похлопал его по руке и по животу.

— А ваш Гейнрих откуда?

— Он подданный другого Гейнриха. Гейнриха тридцать четвертого, герцога крейц-шлейц-фон-лобен-штейнского: тесно им у герцога стало, он и переселился сюда.

— Не забудьте же хутор Новую Диканьку, недалеко от большой дороги, — сказал полковник, смеясь титулу тридцать четвертого Гейнриха крейц-шлейц-фон-лобен-штейнского и кланяясь вслед уезжавшему интересному фургону.

— Поклонитесь отцу Павладию от меня! — прибавил в свой черед, улыбаясь, колонист.

Пыль опять за клубилась по дороге.

— А ну, говори мне, скотина, что там за такая воспитанница живет у нашего попа, на Мертвой? — спросил кучера полковник Панчуковский.

Самуйлик ничего не ответил. Он был под влиянием вежливой беседы с Фрицем.

— Ну, что же ты молчишь, ракалия, а? Не тебе ли я поручал все разведать, разыскать? И в семи верстах, а?

Кучер приостановил слегка лошадей, снял шапку и обернулся. Глуповатое и старческое его лицо было осенено мучительною, тяжелою мыслью.

— Барин, увольте...

— Это что еще?

— Не могу...

— Что это? Ты уже, братец, рассуждать?

— Не будет никакого толку, ваше высокоблагородие, от этих ваших делов. Мало их через мои руки у вас перебывало! Эх, барин, предоставь-то не штука, да жалко после. А вы побаловали, да и взашей?

— Скверно, брат, и подло! не исполнил поручения...

Самуйлик еще что-то говорил, но полковник уже его не слушал. Лошади бежали снова вскачь. Бубенчики звенели. Картины по сторонам дороги мелькали. Вечерело.

А в голове полковника-фермера, полковника-коммерсанта, строились планы горячих, дерзких, небывалых еще на Руси, в среде его сословия, предприятий. То водопроводы он мыслил в каком-то городе затевать; то шумную аферу по закупке всего запаса какого-то хлеба в одном из портов думал сделать; то школу хотел где-то тайно открыть в столице и потом пустить о ней статью «от неизвестного» в газеты; то какому-то ученому заведению мыслил разом купить и поднести в дар большое собрание картин. Недавно, по соседству, сманивали его на выборы. «Нет, не те времена! — глубокомысленно ответил он, благодаря дворян, — теперь нам пора подумать и о материальном счастье на земле; оно, может быть, еще выше духовного!» Так он стал думать, прочтя что-то вроде этого в Токвиле. А теперь у него из головы еще не выходил невероятный колонист с его полумиллионными доходами, собственными кораблями по Азовскому морю и с такою же, вероятно, как он, румяною и белокурою супругой, возящей по

степям на паре сундуки с золотом супруга. Задумался барин и о питомице священника... Панчуковский поспешал в свой хутор, Новую Диканьку, где на другое утро, на неизменный праздник дня своего рождения, он ожидал гостей.

### III

#### НОВОЗАИМОЧНЫЙ ХУТОР НОВАЯ ДИКАНЬКА

На другой день к полковнику действительно съехалась куча гостей. Подъезжая к его красивой усадьбе, все приятно изумлялись, глядя на выроставшие почти ежемесячно новые каменные и кирпичные постройки. «Вот ловкий господин! — говорили они. — А эта Новая Диканька — сущая американская ферма!» Новозаимочный хутор полковника в самом деле очень изменился с тех пор, как приходили в него наниматься бежавшие от старосветских хуторских невзгод, из старой Украины, приятели Левенчук и Милороденко. Хотя кругом его была по-прежнему одна скучная во многих отношениях степь, но благоустроенная заимка, колония гвардейского коммерсанта и земледела, уже значительно пополнилась. На склоне пологого косогора стояла красивая усадьба. Двухэтажный, под красный кирпич, домик, во вкусе швейцарских или скорее французских деревенских мыз, глядел из-за высоких каменных стен, с крепкими дубовыми воротами. Часть обширного двора была занята молодым садом. Отличные конюшни, огромные амбары для ссыпки хлеба, сараи для овечьей шерсти и хозяйственных машин, флигель для дворни, — все было кирпичное, не штукатуренное еще, как и дом, и под железными крышами. Кухня, на голландский манер, с изразцовыми стенами и асфальтовым полом, была возле. Издалека и с большим трудом привезенные тополи были посажены вокруг дома, подросли и отлично скрадывали пустынную степную наружность остальной усадьбы. За домом в полуверсте был ток с хлебною клуней, а еще в стороне и ближе к дому — каменные сараи для овец и избы для батраков, то

есть разного беглого люда. По двору, под стенами ограды, стояли разные земледельческие орудия, еще новые и свеженькие, покрашенные голубую или красною краскою: плужки, бороны, сеялки, конные грабли, веялки и большая новость в крае — жатвенные машины. В клуне, очевидно, работала уже паровая молотилка, потому что небольшая железная труба, как на фабриках, торчала оттуда, изредка венчаясь облачком серого дыма. Паровой локомотив иногда подвозился к колодцу; к нему приправлялась мельница, и обозы с соседних хуторов мигом скоплялись возле за помолом. Близ овчарни был устроен над оврагом кирпичный завод, также с машиною для лепки кирпича. Ни реки, ни пруда не было вблизи усадьбы. Вода доставалась из глубоких колодцев. Не было и деревни. Тут все шло наймом. Через два соседних оврага, разъединявших поля, были перекинуты красивые чугунные мостики. У конторы на столбе был укреплен колокол для зова рабочих.

Экипажи загромождали двор. В отворенные окна дома неслись громкие разговоры. Все двери были настежь. Слуги шныряли из кухни в дом и обратно. Гости, мужчины, сидели за утренним кофе в обширном угóльном кабинете хозяина, на мягких диванах, между кучами цветов и шкапами с книгами. Тут были и старики, и молодые, в сюртуках и в байковых пальто или в простых домашних куртках. Иные сияли нежнее майского утра в своих пикейных сюртучках и белом, как снег, белье, и от них пахло духами, только что прибывшими через Таганрог из Марсея. Другие, кажется, никогда не мыли рук, не чесали головы, не стригли копытообразных ногтей, и от них пахло овцами и коровьим навозом. Сидела тут с длиннейшею трубкой и какая-то барыня, по фамилии мадам Шелкова, из казачек, вечно кашляющая, с загорелым лицом, как у сгонщика или мелкого рассыльного хлебной конторы, но в то же время в лентах и в шелковом платье. Она, очевидно, приехала с коротким визитом и попала в мужскую компанию в кабинет за делом, мяла платок в руках подобострастно и, утирая слезы, заглядывала всем в глаза, оправдываясь

иногда, что трубку курит от какой-то болезни, все как будто торопилась кончить какие-то печальные дела и сообщения, подсаживалась с богатырскою трубкой то к одному, то к другому кружку, слушала со слезами на глазах толки о близкой будто бы эмансипации<sup>1</sup> и повторяла: «Ах, боже мой! Ах, господи! А я-то гребли не кончила, свай не набила; хлеба сколько насяяла... Кому убирать его, кому убирать! пойдём мы по свету!» Читатель, разумеется, может знать, что эмансипация тогда еще не угрожала ни гребле, ни сваям, ни хлебу этой барыни. Остальной женский пол, очаровательные новороссийские дамочки, разодетые азиатскими бабочками, во французских кисеях и шелках, сидели в гостиной и ходили по зале. Сам хозяин, холостяк, удостоенный визитом дам, был сильно в духе. Ему все льстили, все ахали, рассматривая его дом, картины, хозяйство, машины. Все гуртом сходили на ток, в овчарни, и в рабочие избы. Барыня Шелкова, подоткнув шелковое лионское платье (она тоже не отставала от моды), также сходила и в овчарни и на ток, удивляясь полковнику и хваля его хозяйство. Карие глаза полковника сияли волей и счастьем; усики, загнутые вверх, были надушены. На всех он смотрел с довольством. Все были веселы.

— Мы, господа, беглые, то есть в европейском смысле — колонисты; это я вчера Шульцвейну говорил. Вы слышали про него?

На эту тему стал ораторствовать Панчуковский и говорил весь день.

Под общий шум разговоры свелись на хозяйство каждого, и все расхвастались. Тот превозносил своего чабана и свое стадо тонкорунных мериносов. Другой прославлял себя за громадное увеличение запашки. Третий уверял, что скупит в портах все бельгийское железо и повезет его в Полтаву и в Харьков в подрыв сибирскому. Другие говорили о машинах. «Нет! — говорил соседний арендатор, ныне уже русский помещик и душевладелец, а еще недавно эстляндский

<sup>1</sup> Здесь освобождение крестьян от крепостной зависимости.

булочник, Адам Адамыч Швабер, — все эти машины — чепуха! Лопнет котел, искра вылетит на скирд, и пропал целый ток хлеба. Где тут этим скотам еще ходить за паровыми котлами!» Кто-то хвастал собственной ловкостью, как он товарища надул баранами. И товарищ тут сам сидел. «Нет, что товарищи! — возражали другие, — в Петербурге слышно о преобразовании полиции. Телеграф сюда ведут. Ростов газом думают освещать. Французы едут сюда угольев искать. Газета, слышно, в Таганроге будет...» — «Как бы денег больше было, — заметил кто-то на это, — лучше всего было бы! Не из-за скуки же здешней жизни бросили мы с вами, господа, свои северные родные места!»

Уже под вечер к Панчуковскому подсел юноша — студент одесского лицея, учитель детей соседнего купца и вместе салотопенного заводчика Шутовкина.

— Владимир Алексеич!

— Что вам угодно?

— Я слышал о вашей доброте... Дайте мне триста целковых взаймы, пока до получки жалованья с моего хозяина. Я вам возвращу с благодарностью, через месяц.

— Зачем вам?

— До зарезу нужно. Мы с хозяином едем завтра после обеда в город. Брат его подбивает на риск. Хочется недаром проехаться в город, а проживя там с неделю, сделать одну аферу. Тут все аферируют. Говорят, лен падает в цене, фрахтовых судов мало, а дней через пять-восемь, думаю, поднимется. Ну, я хочу сорвать барыш. Тут вон дети даже ажиотируют; жидки-ребятишки наемни в Мелитополе подвезенные мешки с орехами на базаре скупили и перепродали с барышом, в праздник... Неужели же нам все с книгами сидеть! Право. Помогите! как бы хотелось недаром тут пробить на вакациях.

Панчуковского в это время кто-то позвал из другой комнаты.

— Извините! — сказал он студенту и вышел.

Студент сидел, рассматривая картины по стенам, потом подошел к роялю, открыл его и стал играть. Страстные

звуки шопеновской мазурки огласили дом и двор, на месте которых еще пять-шесть лет назад гулял один пустынный украинский сирокко-суховей да качались громадные бурьяны. Студент, малоросс и музыкант в душе, играл с чувством, слегка склонив к клавишам Эрара свою белокурую красивую голову. Думал ли он о Шопене, о какой-нибудь недоступной красавице или о затеваемой афере со льном, — трудно было решить. В этом новом и странном крае как-то все это мешалось вместе.

Полковник воротился.

— Извольте, — сказал он опять студенту. — Я вам денег дам, но вы подождите, пока уедут другие гости. У меня есть к вам дело...

Студент встал, тряхнул волосами и, с чувством пожавши ему руку, сел опять играть. Его окружили дамы; он был их любимец.

— А правда ли, что на беглых облавы у нас везде скоро будут? — кто-то крикнул от карточного стола хозяину.

— На каких это, на нас? — спросил шутливо Панчуковский.

— Нет, на беспаспортных.

— Да, слышал я от Подкованцева, исправника: вас и меня это в особенности, Адам Адамович, касается! — сказал полковник арендатору Шваберу. — Тогда просто хоть лавочку закрывай. А я, признаюсь, мало верю в ожидаемое переселение народов с севера. И, признаюсь, открыто передерживаю изредка беглую Русь! Все подличают против своих ближних исподтишка; отчего же мне открыто иной раз не купить станového и не пользоваться бродягами?

Полковник тоже сел играть в банк, высыпав кучу золота. Взоры всех просияли. Поставлена первая карта; она дана. Банк занял все общество. Подошли и дамы. Они также приняли участие в азартной игре направо и налево. Одна капитанша, урожденная гречанка, подбоченившись, стала, вынула из колоды карту, подумала и поставила на нее свои бриллиантовые серьги, а потом золотую брошь. Муж стоял

возле и улыбался, ожидая, чем кончится счастье жены. Южные сердца бились горячо.

Обедали поздно. После обеда, перед вечером, все вошли во двор. За воротами сошлись батраки и батрачки поздравить полковника. Явилась скрипка. Разносили угощения. А полковник, расстегнувшись и выказав свою шелковую канаусовую рубаху, пустился с негритянками, как он выражался, трепака плясать. Дамы хохотали. Мужчины хвалили его за особое умение быть популярным. Потом все пошли снова наверх и уселись на обширном балконе антресолей пить чай.

— Расскажите, ради бога, — спросил меланхолический студент, просивший денег у хозяина, — что за название этой речки здесь, Мертвые Воды, и как населялся этот околоток?

— Да, — ответил хозяин, — история заселения моей земли и вообще этих окрестностей любопытна. Мы читаем записки о колонизации Канады, Новой Зеландии, Перу и Колумбии, а допытывался ли кто-нибудь до недавних событий заселения наших былых запорожских земель, нашего азовского поморья или хоть бы одного здешнего уезда? Это целая поэма во вкусе Купера и Вашингтона Ирвинга, да-с, не шутите с нами.

— Видите ли вон те холмы? Туда верст пятнадцать будет, да в противную сторону отсюда, до того вон кургана, столько же почти. Ну-с, эта вся земля, это немецкое-с почти великое герцогство, наша сказочная завоевательница Запорожья и Крыма, Екатерина, долго не думая, взяла да за каким-то завтраком и подарила одному беглому греческому митрополиту из Турции, упавшему перед нею с челобитной на колени. Ему была дана эта земля в подарок, с тем чтобы он тут устроил странноприимный дом и населил землю. Митрополит умер, ничего этого не сделав. Кто-то из здешних тогдашних чиновных провладел эту землю, без всякого права, лет двадцать, потом ее опять взяли в казну и велели продать с торгов. Покупщиков долго не являлось. Странствовала с прошениями об этой

земле некоторое время в Петербург полусумасшедшая старушка, из переселенных сюда поблизости далматок, надела всем министрам, требуя отдачи этой земли, по завещанию Екатерины, ей — на устройство странноприимного дома. Ездил одна из степей в Петербург в одноколке, на маленькой пегашке, носившей имя Манички. Многие министры, посмеиваясь на безумные искательства старушки, знали эту Маничку и на просьбы ее хозяйки: «Коли не отдаете мне земли, то дайте хоть сена моей лошади!» — отпустили с своих сиятельных конюшен ей сена. Я, еще служа в гвардии, видел и старушку, и ее конька, уже совершенно дряхлых. Тогда земля эта была уже за другим, и старушка собиралась ехать в Европу просить заступничества других дворов. Двадцать пять лет назад, — говорю я, — эти степи, где еще укрывались тогда по камышам и балкам дикие лошади, были проданы с аукциона. Все четырнадцать тысяч десятин этой земли купил через поверенного один польский граф, богач, — он в нашей гвардии служил и я его знал, — сын виленского аристократа, чахоточный и никуда не выезжавший. За глаза куплена степь, снят план, составлен проект переселения туда крестьян из одной северной губернии. Эти насильные переселения были тогда в моде. Проект утвержден, и поверенный стал вести дело переселения. Выведены плугом черты громадной деревни, свезен материал, стали строиться превосходные избы, на все отпускались деньги щедрою рукою, а поверенный был питерский бюрократ и все любил вести на щегольскую ногу. Выхлопотал он у епархии и священника в будущую деревню. Это и есть наш вселюбнейший отец Павладий, о котором мы с вами поведем речь особо! — прибавил Панчуковский, обращаясь к студенту, подмигивая и потирая его по колену.

— Любопытно! очень любопытно! — говорил студент, следя с балкона голубыми задумчивыми глазами за уходившею в вечерние сумерки окрестностью, о которой шла речь.

— Так моя поэма не скучна, господа?

— О нет, нет, кончайте, пожалуйста.

— Вот-с, — продолжал хозяин, — как уже избы стали кончать, а строения возводили все каменные, отец Павладий, тогда еще юноша, приехавший с молодою чернобровою супругой, и начал говорить поверенному: «Что вы делаете? строите село на безводной степи; отведите его версты за две влево, к балке; там ключи в овраге бьют самородные, пруды можно устроить хорошие». — «Как можно, — говорит строитель, — село выведено на большую дорогу, и планы уже утверждены, мы выроем тут колодцы». — «Ну, как знаете, — говорил поп, — а я себе жилище буду строить у балки, да и церковь уж позвольте там построить; я буду там сад возле нее разводить». Церковь разрешено строить у балки, в видах обещания даром устроить сад, а люди, дескать, и за две версты дойдут в праздник. Церковь построена, построился и отец Павладий, кончена и деревня. Иначе не хотели переселять людей. Как можно! Надо, чтоб все было готово. Нанял строитель землекопов, выкопал колодцы, расплатился и уехал с докладом в Петербург, что все готово: даже в каждой хате стол стоит, образ привешен, вся утварь припасена и от замков на каждой двери ключ в конторе ждет хозяев. Тремстам семействам загадан выезд из России на новокупленную степь. Поехали переселенцы с кибитками и скотом. Прибыли на место, разведены по хатам. Отец Павладий молебен отслужил, все освятил, и зажили переселенцы. Вспахали под озимь, посеяли, а пока питались готовым запасом. Не нарадуется поверенный, пишет письмо в Петербург. Только и ударила гнилая, бесснежная зима. А еще до того всю осень народ прохворал. Что за притча! Кто ни напьется из колодца — и заболел. Да что долго говорить: до весны вымерла половина деревни, хватились переводить в другое место, запретили пить воду из колодцев, — куда вам! Эпидемия хватила такая, что к Петрову дню другого года из трехсот-то семейств, господа, осталась в живых одна кривая старуха.

Панчуковский помолчал и опять стал говорить:

— Да, все погибло и вымерло; умерли дети, старики, отцы и матери, умер и поверенный, умерла и жена отца Павладия. Некому было и могил копать! Как узнали об этом в Петербурге, ужас напал на владельца — отказался вовсе от этой земли и до конца жизни тут уже не был. Скоро он сам умер, и земля перешла к его племяннице. Остался один отец Павладий с церковью и молодым садом у балки. Развел он действительно хорошенький сад, даже рощу, устроил пруд. Соседние и дальние колонисты, бывшие еще без церквей, болгары, сербы и даже греки, стали его прихожанами, а те-то опустелые дома бурлаки по камню растащили. И теперь там от бывлой деревни только видны плугом обведенные места дворов и улиц, да крест огромный на кладбище стоит. Так легли переселенцы все до едина. Умерла скоро и последняя старуха. Ну-с, часть этой земли, именно пять тысяч десятин, я сперва взял у новой владелицы в аренду, а потом, как видите, купил, а другую арендуют по частям, как знаете, кто хочет. Чу-маки-то (как была еще там большая дорога, о которой все хлопотал строитель, и были еще не забросаны роковые колодцы), видя страшный крест, и прозвали прежде безыменную, протекающую тут по соседству речку, а потом и всю здешнюю землю Мертвыми Водами. Вот почему наш околоток так и зовется, хотя, как видите, он цветет и красуется не хуже какого-нибудь Висконсина, Элебэмы или Порт-о-Пренса, населенных заморскими колонистами.

Студент встал, сошел вниз в залу, сел за рояль и начал играть чудный *marche funèbre*<sup>1</sup> Шопена.

— Однако же как недурно он играет, — сказал, прислушиваясь, кто-то из гостей.

— Да, очень даровитый человек! — ответил другой голос из среды слушателей.

Помолчали минут с десять. Снизу летели пленительные звуки.

<sup>1</sup> Похоронный марш (фр.).

— Так у отца Павладия, должно быть, преавантажный теперь уголок? — спросил, громко чихнув, Швабер.

Сумерки уже так сгустились, что все на балконе сидели, почти не видя друг друга, будто на воздухе в облаках.

— Да, — ответил задумчиво Панчуковский, — место там прелестное, называется Святодухов Кут, на ключах; большой сад, душистая густая роща, пруд отличный; церковь вся в кустах сирени, акаций и в тополях, весной просто рай. Я, однако, редко, признаюсь, там бываю...

— Отчего же?

Панчуковский помолчал.

— Вы хотите знать отчего?

— Да.

— Извольте: два медведя в одной берлоге не уживутся! Я аферист, и отец Павладий аферист; он хлопочет о наживе, и я: ну, мы и соперники — вот как две торговки шашлыком на базаре...

Слушатели рассмеялись.

— Хороши соперники! Вы ворочаете чуть не сотнями тысяч, а это бедняк, сельский священник...

— Да! посмотрите, что это за священник!

— А что у него за воспитанница там есть? — спросил, сопя и зевая, Швабер.

— Право, не знаю! — ответил рассеянно полковник, — я три года уже у него не был, поссорился на одном деле. Разве подросла в это время. А человек он добрый и умный, корыстолюбив только, как латинский поп.

— Да будто уже нашим и денег не нужно?

— Это еще вопрос...

— А где ваша кухарочка? — спросил опять хозяина, сходя с лестницы, тяжеловатый Швабер и толкнул его, шутя, под бок. В это время двор, крыльцо и ограда осветились разноцветными фонарями импровизированной иллюминации.

— О! бог знает, что вы вспомнили, камрад, — кухарку! Я ее прогнал давно взашей. Пожалуйста, этого не вспоминайте. Теперь у меня на уме не пустяки. Я тысячу десятин

пшеницы на это лето засеял и думаю убирать наймом; это не шутка!

Начались танцы. После ужина все стали разъезжаться. Кучера дремали. Месяца не было видно, но ясная звездная ночь делала поездку безопасною. Уже многие юноши уехали. Дамы оставили Новую Диканьку, превознося хозяина за угощение. Уехали и старики. А на крыльце у подъезда шла крупная словесная перепалка двух немецких соотечей, арендатора Адама Адамовича Швабера и колониста, конского заводчика Карла Ивановича Вебера. Оба немца были после ужина сильно выпивши и спорили по-русски о достоинствах своего родича, богача Шульцвейна. Вебер говорил, что слава и гордость их колоний, Богдан Богданых Шульцвейн, скоро будет русским графом и князем и всю губернию заберет в руки; что ему и орден какой-то прислали и что он в своей колонии затевает гимназию и газету. А Швабер кричал во все горло: «Врешь, врешь! Шульцвейн шельма, и ты шельма! Такого осла хвалить. Он грубиян и ты эзель!<sup>1</sup> Врешь! А-а! Так ты хвалить? у него табачная голова и полный карман мошенничества: он севастопольский воловий парк обокрал! Ты, Карл, ты, Карлуша, можешь надувать русских; а для нас — слушай, брат, вот тебе кулак, а вот и другой, — он овечья голова, шафскопф, и больше ничего! Молчать! Ну!»

Зрители этого петушьего боя наконец разняли спорщиков, уложили каждого порознь в его зеленый, с клеенчатым верхом немецкий фургон и погнали кучеров. Но взьерошенные и красные, как после бани, бюргеры Швабер и Вебер, едучи рядом за воротами, еще долго ругались из фургонов и где-то даже будто бы опять на дороге выходили на траву, спорили и ругались и даже хватали друг друга за виски. Так говорила молва.

Уехали все, остались одни: хозяин и студент.

— Погодите, оставьте вашу фуражку, — сказал Панчуковский.

<sup>1</sup> Осел (нем.).

— Владимир Алексеевич, надо ехать. Ведь я верхом, а до нашей усадьбы двадцать верст будет.

— Да разве завтра у вас уроки? Кажется, завтра праздник!

— Но ведь я вам сказал, что мы после обеда едем в город...

— Ах, извините, точно: сейчас я вам дам деньги; только остались бы вы у меня переночевать, — а утром и доедете...

— Нельзя, право нельзя: хозяин наш человек строгий, из донских; вы их знаете?

— Как не знать! Скажите, однако, это он, что ли, гувернантку свою, московскую институтку, поколотил, и она пешком ушла к ногайцам, лет пять назад?

— Кажется... Может быть... я, право, не знаю!..

— О, еще скрываете! Он с кнутом гнал за нею, с мезонина в сад, и расшвырял по полю все ее книги и вещи; говорят, не сдалась на его искания! Ну, да не в том дело; пойдите в кабинет.

Они пошли.

— Извините, ваше имя и отчество?

— Михайлов Иван Аполлоныч, — ответил, поклонясь, хорошенький студент.

— Ну-с, Иван Аполлоныч, я вам триста рублей дам, а вы мне сослужите службу!

Михайлов поклонился.

— Я бы вам сам дал денег; и вот они — недалеко за ними ходить! Но вот в чем дело: вы слышали сегодня о священнике, отце Павладии? У него есть воспитанница, — понимаете, друг мой? У меня на нее есть виды, — поняли?

Студент покраснел.

— Ну-с, вы к нему, под предлогом займа денег, и поезжайте; он падок к хорошим процентам и даст.

— Но он меня не знает.

— Я напишу поручительство.

— Отчего же вам самим к нему не съездить, насчет этой-то его девочки, если уже вы...

Студент не договорил и опять покраснел.

— Нельзя; я уже имел с ним ссору за одну девочку, а на людей моих плоха надежда. Они мне помогут после. А тут нужно только узнать, что у него за приемыш этот и стоит ли она внимания? Вы как-нибудь устройте так, чтобы ее увидеть; если нужно, то и заночуйте; да уж лучше всего поезжайте сейчас. Дело денежное, само себя оправдывает.

— А далеко это?

— Да верст семь будет, девять, не больше.

Студент посмотрел на часы.

— Теперь уже девятый час, не поздно ли будет?

— Чтоб ехать сейчас? И отлично, поезжайте! Я вам дам своего коня, а ваш отдохнет. Отец Павладий много читает и поздно ложится спать. Поезжайте. Только вы оттуда ко мне заверните и разбудите меня, хоть за полночь будет. Я положусь на ваш вкус, только посмотрите.

— Извольте: очень благодарен, и если увижу вашу незнакомку, то к свету еще ворочусь к хозяину, а вам все расскажу в подробности.

Письмо полковником к священнику написано, лошадь оседлана, дорогу рассказали, и при взошедшем месяце легкоподъемный юноша поскакал тропинкой в Святодухов Кут. Будущий коммерсант не думал об усталости, не помышлял, что в одну ночь, с поездкой за деньгами, ему придется сделать верхом верст за тридцать. Он скакал и скакал, рисуясь перебегающе тенью по росистым холмам и лощинкам.

#### IV

#### Святодухов Кут, жилище священника

Скоро мелькнул перед студентом овраг, перешедший потом в глубокую балку, лесок, золотая маковка церкви и белый домик на склоне оврага. Повеяло сыростью от невидимого пруда. Высокий плетень, утыканный терновником, окружал домик... Все здесь как будто уже спало, когда подъехал студент; но скоро свет мелькнул из низенького,

кустами и деревьями окутанного домика. На топот коня сам священник показался на крыльце и со свечкой встретил Михайлова.

— Здравствуйте, от кого вы?

— От Панчуковского, с письмом.

— От Панчуковского? Пожалуйста!

— А я думал, что вы уже спите.

— О нет, вечер отличный, я только что воротился с поля, гулял. Вы кто-с?

— Студент одесского лицея Михайлов. Вот вам письмо Владимира Алексеича.

Вошли в комнату. Священник прочел письмо, посмотрел на гостя, потом опять на письмо и сказал: «Очень хорошо-с!» — и засуетился. Зажег в главном углу приемной комнаты, у лампадки перед киотом, другую свечку, поставил на стол и вышел. Студент стал осматривать комнату. Груды книг лежали по дивану, стульям и на лежанке. К обыкновенной смеси запаха ладана и воска, встречающей у нас каждого в жилище священника, здесь примешивался еще чудный запах белых акаций, склонившихся цветущими ветвями с надворья к раскрытому окну. И вдруг, в темноте кустов, у самого уха гостя загремел так чудно и дерзко соловей, что у Михайлова сердце екнуло. Священник вошел, принес табак для папирос и бумаги и, сказав: «А? каково-с поет?» — поставил и опять ушел. Вслед за ним также неожиданно вошла в комнату статная, будто еще не совсем на возрасте, но уже совершенно развитая девушка с подносом в руках и поставила на стол чашки к чаю. Она ушла. Михайлов успел разглядеть ее полные руки, сочные губы и темные брови, белое лицо, подобранные венком русые косы и красную ситцевую юбку. Звякая монистами, она гордо и смело повернулась, гордо взглянула на гостя, сдвинула густые брови и ушла, помахая полными круглыми локтями.

«Верно она!» — подумал новый Лепорелло и с замирающим сердцем сел в углу, осматривая комнату. Все студенту казалось таинственным. Вошел священник и, тихо

шелестя рясою, также сел. Студент рассмотрел его больше: это оказался совершенно круглый, приземистый и тучный старичок с отекившим лицом, красноватой мясистой лысиной, едва прикрытою прядями седых волос, с утлою косичкой, перевязанною полинялою ленточкой, и в камлотовом сером подрянике, под гарусным стареньким кушаком. Он сел в кресло против Михайлова и посмотрел на него.

— Вы здешний? — спросил он с улыбкой.

— Нет, я родом из Одессы, на летних кондициях...

— У купца Шутовкина?

— Точно так-с. А вы почему знаете?

— Слышал, про вас говорили мне, что вы способны на все руки-с...

Михайлов покраснел.

— Вы давно знакомы с господином Панчуковским?

— Второй раз его вижу; я с ним познакомился у нашего хозяина.

— А! извольте-с. Деньги я вам сейчас дам. Он пишет, что ручается за вас и что вы завтра же рано едете в город. На что же это вам деньги?

— На одно нужное дело. Я хотел бы на них кое-что заработать...

Священник встал и, сказав за дверь: «Оксана, скорей самоварчик!» — опять тихо сел.

— Извините, я вижу, вы действительно торопитесь; но позвольте мне, дикарю, за одолжение вас деньгами, хотя полчаса побеседовать с вами. Что нового-с в свете, в литературе? Вы давно из Одессы? Мы так редко видим людей, способных носить имя людское...

— Месяц назад.

Священник взял пачку книг с дивана.

— Вы не думайте, чтоб мы, здешние священники, были чужды света. Вот вам Гоголь, вот Пушкин: на последние деньги справил-с. Вот и «Космос» Гумбольдта. Скучновато в степи, особенно зимою. Мы и коротаем время, чем можем. Позвольте-с... Вы читали изданную за границей книгу о сельском духовенстве в России?

Студент хотел удержаться, но сильно покраснел. «Какое? — подумал он с досадой, — живет в глуши, а все знает; ну, что же? и я недюжинный человек! Но, впрочем, об этой-то книге я где-то что-то слышал; кажется, нападки на духовных!» И он бойко ответил:

— О, как же! Читал. Галиматья, пасквиль на Россию, вздорная брань!..

Священник тихо крякнул, придвинулся к столу и, перебирая листики журналов, ласково возразил:

— Э нет, молодой человек! не грешите! что пользы всем нам обманывать друг друга? Много правды в этой беспощадной и резкой книге. Верите ли, я плакал, читая ее. Ни «Копперфилд» Диккенса, ни «Шинель» Гоголя, над чем я зачитывался уже теперь, на старости лет, — ничто меня так не трогало... Поднят и наш забытый вопрос!.. Пора, о давно-с пора!

Опять вошла девушка, внесла самовар, сурово взглянула на стол, степенно все уставила; но при плавном выходе ее студенту показалось, что она уже ласковее, хотя украдкой, смотрит на него из-под напряженных густых бровей.

«Ишь, плутовка! — подумал он, — а какая степенница! таковы ведь все здешние степнячки-поморянки! Да какая же она хорошенькая! Что за стан, что за плечи и брови! а щеки — как персики в пушку!»

— О, — говорил между тем, ахая и неподдельно увлекаясь, священник, подслеповатыми, припухшими глазами ища на столе ложечку, тыкая ее дрожащими пальцами в сахарницу, настаивая чай и торопливо его разливая, — что я испытал, читая эту книгу! Мое детство, мое загнанное и грязное детство, порочная и праздная юность, мои жалкие товарищи, общий обман, насилия и невежество, — все мелькнуло вновь передо мною! Вы читали в наших журналах ответы?

Михайлов покраснел, уже как рак, взмахнул неловко волосами и на этот раз признался, что не читал. Священник вздохнул.

— Жаль, молодой человек, очень жаль; учитесь! Кто у вас профессора?

Студент ответил.

— Нет у меня ни детей, ни жены! всех я тут похоронил, как вымерла наша колония. Слышали? — спросил печально отец Павладий.

— Да, слышал; говорят, ужасы произошли в вашей колонии! правда?

— У! жутко приходилось тогда; да Господь вынес. Извольте, извольте, однако, получить-с деньги!..

И он подал ему из шкатулки деньги.

Стали пить чай. Оксана прислуживала чаще и долее не выходила из комнаты.

— Гм! позвольте... Пуркуа регарде? пуркуа<sup>1</sup> на нее? — спросил вдруг священник студента, оставя чай и неожиданно заговорив коверканным французским языком.

— Мне ли не смотреть на таких хорошеньких девушек! — ответил несколько обидчиво и также по-французски студент. — Вы забываете, что мне не шестьдесят лет.

— Оксана, выйди! — резко сказал Павладий и, когда она вышла, обратился к Михайлову. Священник был бледен и встревожен.

— Извините меня и за невежливый вопрос, и за непрошеную беседу на языке, который я так плохо и самоучкой кое для каких книжек изучил, но этот вопрос сорвался у меня невольно. Скажите... извините меня... вам ничего не говорил на этот счет полковник?

— Нет, ничего. Вот вопрос! Даже обидно...

— Ах, боже мой! Я верю вам, верю! Господи!.. Но позвольте, вы так молоды еще, так мало еще знакомы с Владимиром Алексеичем. Остерегайтесь его. Вы не поверите, что это за опасный человек. Он богат, счастлив по-своему, всеми любим; все ему завидуют. Но что за извращенный это человек! Я с ним, открою вам, сперва поссорился за одну соблазненную им колонистку, мою прихожанку; года три назад я опять повел с ним войну за украденную им неподалеку, из двора градоначальника, кухарку-мещанку. И откуда он

---

<sup>1</sup> Почему смотрите? почему (*искажен. фр.*).

сорвался? Точно зверь с цепи сюда явился. Не пропустит ни одной девушки на гребовице или при уборке хлеба. Поверите ли, суший разбойник! Как кого увидел, наметил, так и соблазнил. Это какая-то чума в своем роде. А какой тихий, светский: воды не замутит, говорит, как девушка! И между тем, тут в околотке нет мужа, брата, отца, которые бы на него не плакались. Он на меня первое время страх наводил. И все ему как с гуся вода! Много на него выходит жалоб. Заманит, а потом еще иной раз со срамом и прогонит. Поверите ли, эту последнюю мешанку держал более года, водил ее в шелках, в кабриолете в город пускал, какое-то тоже ее побочное дитя в кафтанчиках водил, а потом взял да и дал ей на дорогу сто розог... Это он называет: выпить бутылку и об пол! Изверг, ей-богу-с, изверг! Наезжают они теперь из России, как коршунье, в наши места; кидаются в аферы, спекулируют... Это еще бы ничего, да бога забывают-с, вертепы разврата позаводили! Что французские конторщики в портовых городах, что наши спекулянты-помещики здесь! А еще гвардии полковник!.. Срам!..

Михайлов засмеялся.

— Вот, право, не ожидал, а какой порядочный кажется человек!

— Не ожидали? Смейтесь себе, смейтесь! А это суший разбойник, ей-богу! Я и сам, коли хотите знать, его люблю за ум и за даровитость. До тридцати лет получил чин полковника гвардии; повеяло новыми стремлениями, вышел в отставку, стал хозяйничать — ему повезло. Тут бы себя подельнее обставить, а он развратничает, как последний купчишка на уездной ярмарке, как армейский юнкеришка с цыганками! Тьфу! За этим ли он ехал из столицы в такую глушь? Да, вы меня спросили о моем приеме...

— Да-с, прехорошенькая! уж извините, попросту сказал...

— Эх, вам все красота на уме! А ее, скажу вам, судьба прегорькая. Должно быть, отец ее был из беглых, из помещичьих лакеев. Шла она с ним из России сюда; на ночлеге, в степи, отцу ее какой-то бродяга, не то косарь, не то дворовый бурлак, перехватил ножом глотку. Прибе-

жал он с нею сюда ко мне во двор, истекая кровью, и упал у меня, бедняк, на пороге. От умиравшего только слышали какое-то имя; его отвезли в Таганрог; тогда уже наступила война<sup>1</sup>, госпитали смешались, и я не мог добиться толку, где умер старик и умер ли? Да не мог же он вылечиться. Бумаг при нем не было; ну, его, верно, и похоронили так, без отметки. С той поры я ее и вскормил; сам учил кое-чему и пока держу ее в услужении. Да надобно свезти в город, отдать хоть сестре моей: все-таки там будет спокойнее. А то тут пока еще замуж выйдет, хорошего человека найдет, — не совсем безопасно. Сказано: выставь сахарок такой на окне, как раз мухи облепят: хе-хе!.. Уж извините меня, молодой человек!

И отец Павладий сам от души засмеялся, помахивая старою лысою головкой и моргая красноватыми, припухшими глазками.

— Вы же вон первый заметили ее! — продолжал он, — а жаль девку; точно добрая. Моя дьячиха только за нею и приглядывает. Да извините, что вас задержал: скучновато на безлюдье. Вы получили деньги, напишите же теперь расписку. Да уж, извините, включите, что на месяц там, по первое, положим, июля, по три процента, — вы их и включите в капитал.

Михайлов поднял брови.

— Что вы, отец Павладий! по три на месяц?

— Да уж извините. У нас уж так. Я хлопочу о церкви; но хлопочу, пожалуй, еще больше и о себе; жалованье нам плохое, страна тут коммерческая, время горячее, деньги нужны всякому, ну, и риск бывает. Я и даю на риск; ведь я человек также, или нет? А вы, верно, тоже на дело берете?

— На дело.

— Ну, и рассчитайте: стоит ли брать? Тогда и берите. А я свое сказал; так-то-с.

Священник, держа деньги, смотрел на студента.

Михайлов, недолго думая, взял деньги, как берут их все молодые кандидаты в аферисты, не соображая даже, выручит

<sup>1</sup> Крымская война 1853—1856 годов.

ли он ими хоть заемные проценты. Он быстро отмахал священнику расписку. Отец Павладий надел очки, прочел два раза расписку вслух, попросил еще написать сбоку словами, а не одними цифрами, что взято триста и девять рублей серебром, и простился с гостем. Михайлов вышел. Серый конь Панчуковского быстро домчал его в Новую Диканьку.

— Ну что? — спросил Панчуковский, с газетой и с сигарой лежа на постели. — Я вас подждал!

И он протянул ему небрежно руку.

— Дал поп, да за то и проценты взял, по три на один месяц...

Полковник громко расхохотался на весь дом.

— Ну, так я и знал! Ай да попик! Современный! Это уж, извините, он тоже не отсталый человек; и, я думаю, книгами хвастал, а?

— Хвастал, — робко сказал Михайлов.

Захохотал еще громче прежнего полковник, и от его смеха огласились все комнаты пустого холостого дома.

Поговорили еще. Маятник одиноко стучал где-то из нижних комнат.

— Итак, покорнейше вас благодарю, Владимир Алексеевич, за ручательство.

— Не стоит благодарности. Что за пустяки! Ну-с, а насчет нашей красавицы?

— Да, — сказал студент, вертя фуражку, — вы поручили узнать насчет той сироты?

— Ну, что же-с?

— Она дочь убитого беглого.

— Беглого! А! Значит, она отцу Павладии принадлежит так же, как и моему, положим, Абдулке...

Студент рассказал подробно историю убийства ее отца.

— Ее взял священник, когда отца ее зарезали, и с тех пор она у него в услужении. Он ее грамоте стал учить два года назад; читать и писать выучил и очень любит.

Панчуковский зевнул.

— Он, должно быть, задумал выгоднее выдать ее замуж, выкуп взять...

— Девочка прехорошенькая! — твердил студент с чувством, — просто прелесть! Я редко встречал такие лица — и строгие, и соблазнительно-увлекающие! Полная, пышная, здоровая... Знаете, этот бьющий в глаза пыл здоровья... Знаете...

— Человек, лошадь барину! — крикнул Панчуковский с постели. — Вы когда же опять у меня будете?

— Когда деньги привезу отдавать.

«Жди теперь тебя!» — подумал полковник и любезно простился с гостем.

Студент опять поскакал по стемневшей степи. Близилось утро. Было уже перед рассветом.

Между тем как студент еще выходил от священника, с ним на пороге впотьмах столкнулся какой-то человек, не то мещанин, не то рядчик из города, статный малый, с узлом в руках, который он, очевидно, нес к священнику. Когда отец Павладий проводил гостя и, не затворяя за собою двери, вошел и остановился в освещенной еще по-парадному комнате, пришедший с узлом ступил из сеней в приемную.

— А! Левенчук! откуда бог несет? Что это?

Пришедший поклонился в пояс.

— Это, батюшка, уж примите; это вам свежая рыба с тони да часть дичинки: сам стрелял.

— Спасибо, спасибо; Оксана, возьми! — крикнул священник в сени. — Я это люблю, спасибо!

Но Оксана не явилась. Левенчук помолчал и опять поклонился.

— Батюшка!

— Что тебе?

— Как же насчет того-с?

— Чего?

— Да насчет обещания вашего?

— Какого?

— А про Оксану...

Отец Павладий отошел и выставился из комнаты в окно, в которое еще громче несло пение соловьев.

— Видишь ли, брат, — сказал он, не оглядываясь, — ты человек добрый, и я тебя узнал, да ты беглый, значит — ничто. Ну, как тебе поверить душу человеческую? Ты беспаспортный, бродяга, ведь так?

— Так...

— А я тебя покрываю?

— Покрываете...

— Ну, значит, и ты преступник, и я. Придут, потащут тебя, раба божьего, — и пропала девка.

— Батюшка! Что хотите, возьмите, а отдайте ее за меня; другой год вас прошу, молю; отдайте, не загубите моей души... Богом-господом молю!

— Ну, слушай, вот тебе мой зарок: принеси сто целковых на церковь да сто целковых на выкуп твой, — напишу к твоей госпоже; авось, дадут тебе волю... Тогда и бери Оксану-то. Что, согласен? Хочешь, сяду и напишу твоей барыне; прямо скажем все.

— Нет, батюшка! Бог вещь, как еще дома посмотрят теперь на мое бегство; обвиняли же меня за машиниста нашего! Берите двести целковых на церковь, а уж на выкуп у барыни моей не требуйте, не пустит меня теперь барыня. Знаю я, что не пустит. Смилюйтесь, батюшка, обвенчайте так... Мы за Кубань, мы в Молдавию убежим...

Священник подошел к столу, погасил свечи, стал к окну и высунулся опять в него по пояс, глядя на освещенную месяцем росистую окрестность, по которой раздавались соловьиные крики. Из сеней вошла и тихо стала у косяка двери Оксана. Она плакала; плакал и Левенчук.

— Ну, — сказал священник, оглядываясь на них, — перевидал я тут немало вас, горемычных! Бог вас благословит! Венчаю!

Левенчук и Оксана поклонились ему в ноги.

— Когда хочешь, приноси только деньги; значит, ты порядочный человек, достаточный, надежный; ну, значит, тогда и бери. А я, собственно, не себе беру, ни-ни! Что ее в самом деле держать? я и сам думаю. Еще что скажут! Но ей-же-ей, господи, желал бы я, чтобы ты ей принес сча-

стье, горемычной сироте. И где ее родина, и откуда она — не знаю.

Левенчук вздохнул.

— Ну, вот вам, батюшка, семьдесят пять целковых, а остальные, может, и все к Троице отдам.

Он вынул из конца затасканного платка деньги и отдал.

— Ты где был это время и где теперь стоишь?

— Был на неводах и в конторе хлебной был, а теперь опять всю весну при неводе. Там и дичинки вам набил...

— Контрабандой занимался?

— Случалось.

— Нехорошо, Харитон, поганое дело! отвечать будешь! брось! Ну, ступай же, бери свою Оксану. Чай, под ракиткой побеседовать рветесь. Ступайте же, целуйтесь себе, мои пташечки! Только далее... ни-ни... Чуешь ты, Харько?

— И, батюшка, будто мы уже какие антихристы? закон отцов знаем.

— А твой Милороденко где? Давно он меня шутками не смешил.

— Бог его весть, где он. Хотел покаяться, остепениться, а про то не знаю...

— Ну, ступайте же. Да накорми его, Оксана, борщиком, — чай, голоден; там и каши спроси у дьячихи. Навиделся я вас, несчастных! Это ты сегодня с моря, а? Должно быть, пешедралом?

— Да, пехтурой; где нам, ваше преподобие, иначе! Еще с утра вышел, ни крохи во рту не было...

И Левенчук пошел с Оксаной.

А в то время, как студент, исполненный самых пылких надежд на аферу с занятыми деньгами, летел по степи и ему навстречу загоралось приморское утро, дымясь, свежая и освещаясь всякими блестящими, Панчуковский призвал в спальню своего Самуйлика, уже знакомого нам старого кучера, и сказал ему:

— Во-первых, проснись, скотина, и слушай в оба; во-вторых, без нравочений, иначе — плети; а в-третьих, изволь с завтрашнего же дня собрать мне все справки

о поповой воспитаннице! Слышишь ли? собрать, да самые верные!

Самуилик хотел что-то сказать, но только махнул рукою и мрачно и молча вышел. Он знал, что барин иногда с ним шутит, а иногда и не шутит, да и больно не шутит.

Уж солнце всходило, когда студент свернул влево и для краткости пути поехал через небольшую безыменную речонку, отделявшую землю купца Шутовкина от проезжей дороги. На речонке был хутор и водяная мельница. Спустившись шагом на плотину, студент увидел толпу мужиков, забивавших пали у водоспуска. Барыня в лентах и под зонтиком стояла тут же и, куря длинную трубку и порой покашливая, жалостно и суетливо покрикивала на рабочих и распоряжалась.

— Здравствуйте! — сказал студент, узнав в барыне вчерашнюю знакомку, Щелкову, бывшую у Панчуковского.

— А! это вы, мусье! — печально отозвалась вслед уезжавшему знакомцу мадам Щелкова. — Вы вот катаетесь, а мы труженики-бедняки, уже на работе! экскузе!<sup>1</sup>

Студент приударил по лошади и скоро вошел на крыльцо еще сонного сельского купеческого дома.

А в гушине раkitника и ясенков, разведенных над ключевым прудом отцом Павладием, короткий конец майской чуткой ночи коротали, забыв весь свет, Левенчук и Оксана.

## V

### НАШИ КЕНТУККИ И МАССАЧУССЕТС

«Что такое, однако, эти беглые в Новороссии?» — спросит заезжий в эти места. «А что такое беглые? — ответят ему туземцы, — известно что: беглые да и все тут! Крепостная Русь, нашедшая свое убежище, свои Кентукки и Массачуссетс. Здесь беглыми земля стала. Не будь их — ничего бы и не было: ни Донщины, ни Черноморья, ни

<sup>1</sup> Простите! (фр.)

преславной былой Запорожской земли, ни всей этой вековечной гостеприимной царины, к которой стремятся с севера и из других мест за волею и люди, и звери, и птицы! Все тут беглые: Ростов, Мариуполь, Таганрог, все беглые. Эти портовые богачи, купцы и мещане, эти Шелбановы, Пустошневые, Катальманьевы, Безродные, — поройтесь в преданиях их, какова их история? Недавние предки их — крепостные, выходцы из России, либо помещичьи, либо казенные беглые!» Так вам ответят туземцы. А сами посмотритесь на беглых — люди как люди! Что же их смаливает сюда? Приволье земель и работ, только трудись; на всех труда станет...

Со всех концов России, а с севера в особенности, шли огромными артелями наемщики на юг. Они шли по большим и малым дорогам, с косой за плечами, парни и девки, нанимаясь по пути в косари и гребцы. Целые села, гуртом выходя из тесных околотков, шли по дорогам в пыли и духоте, босиком и впроголодь в ожидании тяжелого труда. Отдельные артели сливались в отряды, становясь к делу на крайнем юге и то там, то тут начиная белеть своими рубахами и сверкать потертými косами и серпами. Было тут немало и вольных крестьян с билетами, и помещичьих с паспортами; но в каждой артели было еще более беглых. Труд нужен, труд дорог: рук мало, дело кипит, трава сохнет, пшеница зреет, горит, наливается, осыпается; сотни и тысячи рублей готовы погибнуть: как тут не принять беглых, господа юристы? Милости просим! Хотя и опасно, да кто их усчитает в этой неоглядной степи? Есть где поработать, есть где и спрятаться. Спрячет их свой брат земляк, спрячет и помещик, когда налетит гроза в виде исправника или станового, стан которого здесь величиной чуть не с ганноверское королевство. Станового тут купит всякая депозитка; он и смотрит сквозь пальцы. Чуть зазвенел, однако, жадный полицейский колокольчик — бурлаки прячутся в бурьяны, байраки, стоги или в камыши или в глазах самой власти бегут через границу ее уезда. А помещику и колонисту без беглого нет житья. Беглые —

народ смиренный, трезвый, усердный; чисто ливерпульские пуритане в душе. Берет беглый за работу меньше вольного; ну да и обсчитать его легче: не пожалуется!.. Поплачет разве только, либо выругает за околицей хутора не по-человечески, и только. Потому-то здесь все шито и крыто. Беглые идут на линию, за Кубань, в Крым и в приморские степи на юг, как домой, из всяких суровых и тесных уездов севера. Пуританизм их удивительный. Известно следствие в окрестностях Нахичевани, открывшее, что партия беглых ночевала в степном байраке у какой-то лесничихи, как при этом один из беглых украл у хозяйки ведро и как за это товарищи его сперва высекли, а потом, недолго думая, повесили на дубу: «Не срами, дескать, хороших людей!» Так-таки и повесили.

Точки соединения всего этого летнего захожего люда в степях, притон их отдыхов и наймов, их увеселительные клубы, это — шинки зажиточных слобод и одинокие постоянные двory с громадными, уже известными читателю степными колодцами.

Эти шинки — вещь любопытная. Кто их здесь не знает, за рекою Богатырем, Джемреком, в селах Большой Янысель и Старый Керменчик и вдоль по рекам Кобыльной и Волчей, а равно в апухтинских и черниговских хуторах, в молоканской слободе Астраханке и в немецкой колонии Красный Трактир? Во-первых, такие шинки приносят огромный доход. В обширной слободе они непременно устроены на главной улице или на площади, близ церкви. Это, по праздникам, своего рода лондонская биржа. А хотите знать, как нанимаются беглые летом и как ажиотируют этими белыми неграми наши южные плантаторы? Извольте. Подъезжая в праздник к месту их сходки, вы еще издали усматриваете небывалую толкотню и слышите громкий говор народа. Толпа стоит перед шинком вплоть до церкви, как на торгу. Отдельные кучки стоят по соседним переулкам, сидят под плетнями или идут решать дело еще далее на выгон, за село, чтобы не было свидетелей. В общей толпе и перед этими отдельными кучками прохаживаются

помещики, кавалеры средней руки и приказчики богачей, нанимая артели, выслушивая торги и последние цены, сбивая упорных разными шутками и друг у друга, у своего же брата, сманивая небольшою надбавкой нанятых уже рабочих. Иной приказчик в синем кафтане и в синих шароварах, подпоясанный красным кушаком, ходит-ходит, торгуется, надседается, сошелся, нанял, выставил ведро водки на магарыч, сосчитал свою артель и спешит домой; а по пути, иногда у самых ворот его, встречает артель приказчика другого помещика, надбавляет рабочим ничтожную плату и уводит их с собой. Бывают при этом и свалки наемщиков и нанятых.

Случается, что ловкий соглядатай от одного помещика явится в степь прямо на работу к нанятым другого с целью сманить их разными льготами; а другой-то хозяин еще ловче, подглядит его штуки да тут же в степи его и высечет. А старики новичкам говорят: «Вы тому не удивляйтесь, что этот пан высек ключника того пана: так было и в старину, как наши степи селились и еще люди тут ходили незакрепленные, как запорожцы. Придет Юрьев день, — являются верховоды, кричат: «На Кильчень!» либо: «На Самару!» Одно село выселяется, а другое идет ему навстречу в иное место. По мостам и по плотинам идут обозы с детьми, добром и стариками; идут батраки и бабы, прощаются с родичами; волы режут, возы скрипят, а паны заезжают друг перед другом, спорят, сманивают к себе нашего брата и рубятся саблями, а иногда и пищали, бывало, хлопают. Оно так всегда тут было!.. Тот пан, бывало, при проезде обоза, хвалит свое, а этот свое; говорит: «Идите ко мне, люди добрые! дам вам и степи вдоволь, и хорошей воды, и лесу, и хат, и скота!» А уж что соврет, то соврет, лишь бы ему сманить их, вот как и теперь... Есть предание, как один свирепый командир, преследуя здесь беглых, налетел где-то на артель неводчиков и гаркнул на них: «Где ваши паспорта?» Те переглянулись. Генерал был без конвоя, с одною свитою. «На барке, ваше сиятельство!» — ответили те и пошли по доскам, один за другим, за паспортами. Взошли на бар-

ку, оттолкнули ее от берега и показали ему оттуда что-то вроде шишей, со словами: «Вот наши пашпортики!» И эти слова стали с той поры здесь поговоркою. В праздник, до начала торга, в слободе, где нанимаются косари и гребцы, в церкви обыкновенно служится обедня, и все чинно стоят и молятся, слушая отца Прокопа или отца Дороша. Дым густо стелется, дьячок басит, а из дыма глядят все черноволосые и русые чубатые головы, будто сейчас вышли с картин Шевченко, Трутовского и Соколова. Обедня кончилась: наполняется площадь и шинок. В одном из таких шинков долгое время в наймах, под Керменчиком, был беглый повар какого-то генерала из Калуги, который держал отличную простую кухню и, постукивая ножом навстречу входившего загорелого люда, выкрикивал: «А кому угодно котлеток а la метрдетель, бламанже, суперфлю и все что угодно!» Никаких утонченных диковинок жид-содержатель шинка не мог, разумеется, по его вызову, предложить гостям; но прибаутки повара приманивали толпу, и шинок был не внакладе, справляя иногда, впрочем, свадебные пирушки для соседних поселян и беглых с такими угощениями, что хоть бы и в городе. Про беглых тут ходят и плоские избитые анекдоты, рассказы о том, как они венчаются вокруг полевых кустиков или обходя одинокий стог три раза. Обошли — вот и муж и жена, пока снова разойдутся. Такие же ходят толки и о крестинах. Это уже область местного юмора. Пора работ кончилась. Беглые с полей переходят к неводам. Здесь осенью вся беглая, разбившая свои оковы Русь... Уходя из шинков, косарские артели поют особые местные песни, с сочиненными намеками на соседних помещиков, отдавая им похвалы за милосердие или остря над их скарედностью и стеснениями, вроде этого:

Чужи паны, як пугачи,  
 Держут людей до пивночи,  
 А наш соловейко  
 Пускае раненько;  
 Дае водки и грошей —  
 Спаси его, боже!

Такие песни пелись в косовицу и на Мертвых Водах, на полях купца Шутовкина, братьев Небольцевых, близ поместьев Панчуковского, Швабера, Вебера и на церковной земельке Святодуховского хутора. «Отчего иные бегают?» — спросите вы у станового. «По омерзительной привычке», — ответит он вам и начнет доказывать. Хатка у такого бегуна сплетена из камыша, примазана глиной; в хатке ни стола, ни лавки порядочной, а во дворе плетень камышовый. Придет свинья необрядная, толкнет, чесавшись, и повалит весь хлам. Толкнет с досады и сам хозяин хату ногою, повалит ее и пойдет в бродяги. Ему и жены не жалко, и детей. Так по десяти и по двадцати лет шляются. Видно, дома солоно. А иной проворовался, ограбил, убил. Есть и бежавшие от страха наказания за покражу лоскута холста, сальной свечки. И ходят в бродягах годы. Думали переводить беглых, оцепляли города, села. Прибыл в эти места лет двадцать назад, между прочим, другой, подобный упомянутому выше, свирепый начальник и вызвался искоренить тут всех беглых. А подначальник был у него человек обстрелянный и знал, как это легко говорится и как трудно делается. Захотел этот первач свой край объездить. Ездит и ездит, совсем замучил помощника. Ужас навел на беглых своими выходками и жестокостью. В кандалы перековал целые тысячи, остроги ими переполнил по всему взморью. А помощника совсем выбил из сил. Вот и подвел штуку помощник. Проморил как-то владыку в степи, а все везет его далее, все далее. Уж тот и животик стал потирать и поглядывать из коляски: что за бесов край! хоть бы корочка или деревушка какая, а до города еще верст двадцать. Остановился первач. «Ну, говорит, как бы чего закусить?» Кинулись к свите — ничего нет. А это уж помощник так подвел. — «Нет ли хоть корочки черного хлеба? Нет ли тут постоянного двора где-нибудь?» — спрашивает первач. «Куда вам, ваше сиятельство! У нас ли этому быть в этой голой и пустой стороне! А вот постоит: тут в стороне, на берегу моря, неводок, кажется, есть; беднячок один держит артель. Угодно-с? может, разживемся чем-нибудь?» —

«Вези, братец, вези! просто умираю с голода!» Его привезли. «Здравствуйте, ребята!» — гаркнул первач на рабочих, выходя из коляски. «Здравствуйте, пане!» — «Давайте есть; что у вас имеется?» — «Что же у нас будет, пане? мы люди бедные; хлеб-соль, да разве рыбки вам поймать?» — «Давай». И закинули невод. Уж тогда ли поймали, или было приготовлено заранее, только неводчики и устроили ему закуску: уху из самой первейшей рыбы, с бездною молок и потрохов; в ноздри душистый пар так и ударил; икры свежей вывалили ему целый бочонок; а горячий хлеб да голодный зуб, главное помните. Наелся генерал до отвалу: едва поворотился. Кинул неводчикам червонец, благодарит помощника: «Ну, брат, такого обеда и цари не едят!» Отъехал поезд в степь, скрылось море и коса с неводчиками. Помощник и говорит: «А знаете, ваше сиятельство, у кого мы обедали?» — «Нет, не знаю». — «У беглых!» — «Быть не может!» — «То-то-с; переведете их, так и рыбы такой тут некому будет поймать...» Генерал задумался и больше не козырился, стал как и все мы, грешные...

А плантаторы между тем не дремали. Громадные ватаги косарей и гребцов, человек в триста и в четыреста, расхаживали по быстро косимым степям. Сами велемочные господа кавалеры из-под Ростова, Бердянска, Мариуполя и Мелитополя, кто верхом, в широкой бердянской или одесской, а иногда прямо панамской шляпе, или пешком, с плеткой усердно расхаживали среди артелей, пеклись с утра до ночи на страшном солнцепеке и обращали свои лица в подобие желтого земляного угля. Двигаясь медленными точками и белея своими шляпами, они, как коршуны, стоявшие в небе над ними, зорко поглядывали по сторонам, подмечая либо заленившегося косаря, либо накидывая жадным и плотоядным взглядом смазливую гребчиху, с греховным помыслом приласкать ее вечером, в прохладе одинокой степной пустыни, за стаканом пуншика и глотком коньяку или водки. «Эй, хлопцы! эй, дивчата! — покрякивали степные поморские плантаторы, с бойкостью яростных, настоящих янки помахивая на

кущих кляч плеткой и верхом ведя свои ватаги по пылающим в зное равнинам, — а нуте, постарайтесь! а нуте, разом, разом, разом! дружнее! Котел каши с салом; два ведра водки лишних на магарычи! А нуте, нуте, нуте!» И сотни обеленных бурьянами кос дружно и мерно сверкают; сотни грабель взвивают и складывают в копны душистый чай наших степей, мягкое и нежное зеленое сено. Среди полян стоят косарские и гребовицкие таборы. Косовица во всем ходу, в полном разгаре. У привала дымится из навозного кирпича костерок. Громадная арба с полотняною крышею в виде гроба без устали открывается и закрывается, подвозя на волах или верблюдах крупу, соль и рыбу от хозяев. Несколько бочек едва успевают подвозить к таборам из дальних колодцев воду. Выпекается в хозяйских хуторах, в особенных печах, и в сутки съедается по триста и по четыреста хлебов, на одном поле, у одного хозяина. Из Мариуполя и Таганрога подвозятся мешки и мешочки на тысячи и более рублей серебром мелочи. Нанимаются артели в десятки и сотни человек понедельно. Расплата производится по субботам. Наморившиеся, загорелые и запыленные девки и бабы сидят в тени, где-нибудь под амбаром или под конюшнею, не распевая песен и не шутя, в ожидании расчета. Косари без шапок стоят кучами по двору или у крыльца. А сами гостеприимные господа-плантаторы сидят у крылечка, перед столиком и расчет ведут. Этой партии триста целковых, этой — сто тридцать пять, той — двести. Кости на счетах звонко выщелкивают красные куши. Перо тут же записывает сказочные летние новороссийские расходы. Хозяева в эти минуты не видят перед собою ни живописных типов украинских косарей, ни хорошеньких, подгорелых на ветре и присмаженных на солнце гребчих. Они видят одно сено, копны, стоги, свои стада и барыши. «А! вон и сам пан полковник выехал! — говорили иногда соседские приказчики, из мещан и вахмистров, видя, что Панчуковский выехал к гребцам или к косарям на красивом сером или буланом жеребчике, — ну, это уже недаром! верно, старый хрыч Самуйлик смастерил ему какую коло-

нистку либо из наших девок какую припас полакомиться. Ишь ты! какой молодой орлик летает и плавает перед рядами. Вон остановился; шутит, видно, сигарку закуривает... Эх, житье этим господам, право! Денег — куры не клюют; спят себе вволю, пьют, едят, книжки читают — тьфу! А ты трудись... а девок им и отбою нету!.. Как те салтаны проклятые турецкие проживают!..»

Так говорили приказчики, разумеется, от зависти.

## VI

### ОКСАНА И РАКИТНИК

В одной из таких беглых артелей был и Левенчук. Он был в наймах недалеко от Святодухова хутора; часто под вечер мелькала в яру и в раковой роще его смурая барашковая шапка. Как же полюбились Левенчук и Оксана? Э, господа! Как любятя птицы небесные, зверки полевые? Уж, разумеется, очень просто, как любится все привольное, дикое население степей века и десятки веков, нарождаясь и сменяя друг друга.

Без вздохов, без лишних слов, просто и даже очень просто полюбились и жили своею любовью Левенчук и Оксана. Левенчук окреп на воле в эти три года, возмужал и ревниво берег издали свою Оксану, нанимаясь то в невода, то в поденщики у окрестных колонистов и везде высматривая ее и следя за нею. Их встречи были кратки. Тихая и степенная красавица без него никому не спускала, кто бы ее ни затронул. Возясь и работая в кухне, в огороде, на дворе и в доме священника с утра до ночи, она и дитя кривой дьячихи закачает, и полы вымоет, и птиц накормит, и часто поет-поет, как жаворонок заливается. А сойдет ночь, скрипнет валежник в ракитнике, она молча и покорно идет к Левенчуку, покорно ластится и жаркими-жаркими объятиями нежит его. Слов как-то нет у нее; все бы глупо молчала да нежилась, как кошечка, возле него. Соберутся к святодуховскому пруду соседние гребчихи за водой, по-

лощутся в кустах, припасают ведра воды, умывают загорелые лица, запыленные руки и плечи, и Оксана выйдет из поповой хаты. Наслушается всего, поможет одной-другой воды набрать, подаст ведра на коромысло, придет домой и все рассказывает дьячихе. «Ты только молчи, Оксана, — говорит на это дьячиха, — ты лучше всех, а только молчи! Я уж тебе найду жениха сама!»

«Да, держи карман! — думает Оксана, — и без тебя знаем, где что получше, покраше!» Сама разденется для работы, затопит печь, засучит рукава, поставит горшки, лук крошит, пшено толчет, обед готовит, — а сердце так и колотится. «Вот, думает, девки полагают, что я такая недоtroга, никуда ногой не хожу, ни в наймы в степь, ни в гости ни к кому, а я-то... а ночи?... а раKITник?... Да и тетка Горпина так же думает!..» Пойдет на пруд днем, белье моет. Обнаженные ноги с кладочки в воде рисуются, солнце пышет в лицо. И все ей жалко кого-то. Сама боится глянуть в сторону. «Глянь, — шепчет ей что-то, — глянь! в кусты орешника, в темные ясени, в ракиты глянь: вон там на берегу, по тот бок пруда, стоит кто-то — глянь!..» И весело ей, и тяжело, и совестно, и страх как хочется посмотреть. «И чего я гляну! — думает Оксана, стуча вальком по белью, — теперь полдень, он косит где-нибудь или невод тянет...» Подняла глаза и обомлела: на берег вышел из байрака Левенчук и давно машет ей, зовет ее. А вечер придет... Давно она не видела Харько. Постлалась на лавке, в кухне, помолилась, три поклона положила и крестится, ложась спать. Помнит все, что было днем: как она дитя дьячихи Горпины колыхала, как вечером корову доила, а сама все смотрела опять в сторону, дура, и ждала, что вот-вот кто-то из-за угла покажется. Уже заснула Оксана, спит, а ночью чувствует, что покраснела; совестно ей подумать, как это она выйдет замуж и в люди покажется... Лучше бы так просто подольше жить и тихо любить!

Не помнит Оксана ни отца, ни матери; даже не знает, кто были ее отец и мать и где ее близкие. Слышала, что отца ее зарезали и что с той поры ее взял в приемыши отец

Павладий. И с особою любовью ходит она за дитятею тет-ки Горпины, нежит его, поминутно с ним возится и поет ему степные малорусские колыбельные песни.

Худое и слабое дитя иной раз без меры расплатится. Оксана не даст матери укачать его. Не отходит от него и поет, не переставая. То на руки его возьмет, пойдет с ним на выгон, в лес, опять положит дитя в колыбель и поет.

Как познакомилась Оксана с Левенчуком, трудно и сказать. Был он как-то в церкви, стоял там такой печальный да жалкий; тихо крестясь, приложился к кресту, когда отец Павладий отпущик с обедни дочитывал. Потом косил он в косарях на церковной степи у отца Павладия, а она воду косарям носила. Только и знакомства. А как потом она ему всю душу отдала, стала ходить и бегать к нему, через плетень прыгая, лисичкою в кустах выступая, — этого она и не расскажет. Стала вдруг она и более заботливая: хлопочет и старается по хозяйству, будто собирается куда, будто последние дни для нее настали. А сама похудела, точно измученная чем, но еще более с тех пор похорошела. Русая коса, как шелк, вычесана; темные брови еще темней стали; а слегка впавшие тоскующие глаза не по летам так и мечут любовные чары. Движенья замедлились; тело просится к лени, а работы гибель. Выйдет Оксана на косогор, станет против роши; стоит и вдруг заплачет. Долго стоит, смотрит и поет за душу берущую песню нашей Украины...

Или заберется она в глушь байрака, сядет в кустах, шьет узором сорочку, за слезами нитки не видит и тихо поет песню, которой выучилась она у дочки соседней бакшевицы, пропавшей без вести два года назад, вслед за отходом партии неводчиков.

Песня спета; слезы душат Оксану; она упала лицом на работу и плачет-плачет... еще от рождения она так не плакала. На душе и горько, и тяжело. А мысли роятся между тем: «Ну, желала бы я, однако, знать, где этот пройди-свет Харьков? Должно быть, с дивчатами чужими возится, водку где-нибудь пьет. И не срам?..» Поднимает голову и ахнула: Левенчук сидит против нее на корточках, держит трубку

в зубах, копается в кисете с табаком и смеется. «Вот хорошо, что ты запела, а я по голосу и нашел тебя!» Застыдилась Оксана. Ей весело и вместе жутко. Дрожь в руках и в груди. Она не придвигается к нему ближе. Он смеется над нею. Она кидает в него нитками, траву шиплет, в глаза ему хочет бросить. А он ей руки крутит, борется с нею, десятки прозваний ей ласковых и смешных дает... «Да прочь же, прочь!» — говорит она ему, морщась и будто отталкивая его, а сама все к нему ближе... Солнце не заглядывает в гушину ясенков! Только ветер перебегает по верхушкам... Дикая утка откуда-то налетела, пошныряла раза два над байраком, улетела опять и, снова прилетев, тяжело шлепнулась к осоке озера, ниже пруда. Должно быть, гнездо ее там свито. А Левенчук рассказывает, где он был в эти две недели, где невод тянули, как пароход откуда-то ночью набежал, дым клубился, море шумело, наплыли лодки к берегу, все какие-то не то армяне, не то далматы бежали, выгружали запретный товар, контрабанду, в камыши и с верховыми укрыли ее потом до рассвета далее. Говорит, что эти дни он косил возле Святодуховки и все собирался к ней, только ждал расчета. «Я видел тебя, Оксана; прошлую ночью к двору вашему подходил... Ты спала на дворе под горницею, да я не посмел через плетень перелезть... Лежишь ты, раскинулась — а я хотел подобраться к тебе, напугать! И как это вы собак не держите; просто страшно! Еще обворуют!» — «И, Харитусю! От злого человека и собака не спасет!» — «Ну, где же наш батюшка теперь, Оксана?» — «Дома; пчел едет покупать на Троицу! Приходи тогда...» — «Э, нельзя! Нам заказано в лиманы; француз чаю привезет; разгружать станем; по десяти целковых на человека в ночь будет... Не приду; а после опять косить приду до вашего немца». — «А, стой! — тихо крикнула Оксана и замерла, — стой; как будто кто яром под ногами вот у нас идет; не то отец Павладий, не то посторонний кто... Ишь крадется!» Но шум замолк; на сердце Оксаны отлегло. Левенчук закурил трубочку, и опять пошли толки. Он рассказывает, как жил еще у своей барыни, как пас овец,

как его женили, как Варьку машиной задушило и потрошило, как он утопиться задумал и уже вторые сутки просиживал над омутом у мельницы и как его спас и сманил на линию Милороденко. Оксана в сотый раз слушает и плачет, тихо вышивая узорную сорочку или бросая иглу и безмолвно слушая Левенчука. «Ну, где же теперь наш Василь Иванович, наш Милороденко?» — спрашивает она, тихо в мыслях молясь за него. «Э, Оксана, ищи ветра в поле! Сказывают, что он точно успел за эти три года разбогатеть. Сперва, говорят, был он при неводах, а потом у какого-то грека на хуторе пасеку держал и сам завелся пчелами; даже в мещане в Азове хотел приписаться, по чужому имени — все домом тоже обзавестись мостился. Передают, что уже и при деньгах был. Да какая-то бабенка ему тут подвернулась. Он сперва у нее ключником нанялся — она тоже помещица, что ли. А там и в любовники к ней попал. Год так жил! А с этой весны куда-то и пропал опять без вести. Как будет наша свадьба, Оксана, перед Петровками, мы его разыщем... хочешь? Я припас еще денег; самая малость останется, так и скажи батюшке!» — «Скажу». — «Скажи, что после Троицы, как управлюсь на море да покошусь еще у немца с неделю, приду и остальной за тебя выкуп принесу... Ну, а где же мы станем жить тогда, Оксана?» — «Ох! уйдем отсюда; тут уж нам не житье. Слышно, все разыскивают бродяг, а ведь мы не люди, мы с тобою бродяги... Боже! Хоть бы на Дунай или в ту Анатолию пробраться... У турок, слышно, всех принимают. Вон я слышала, Харько, к нашей дьячихе сестра с богомолья из Ерусалима, проходом в Россию, навернулась, говорит, что нашего народу видимо-невидимо из Одессы и из Польши туда перешло, и по Дунаю так слободами и живут». — «Не может быть того, чтоб до неверных переходили!» — «Ну, а я уж слышала; там пачпортов не требуют». — «А, батюшки, батюшки! вот доля!» — «А слышал ты тоже, — вон попадья к нам от Шутовкина купца наезжала, пшена занимать и постного масла на косарей: наш батюшка на барыши на лето и это держит, — будто к Небольцевым господам исправник выбежал

с понятными, село обходил, все сундуки и погребца осмотрел и шестнадцать человек за конвоем в Ростов отвел. Плачу там, плачу было такого, что и-и! Нашли, говорят, в подвале старого-престарого сапожника; он двадцать девять лет уже как бежал, сказывают, от какого-то помещика, не то из Рязани, не то из Москвы, и все это время жил в подвалах, обшивал все околотки...» — «Ну, ну?» — спрашивал Левенчук, все бледнея и едва переводя дыхание. «Как вывели его оттуда, а он, как мушка сонная, осенняя, так и шатается от ветру, ухватился за волосы седые, белые, да и упал об землю. — «Ведите меня, говорит, хоть в Сибирь, а только домой не ведите, на хутор. У меня, говорит, тут уж своя родина, и жена другая, и дети взрослые, а то я руки на себя наложу; я не крал, не грабил, тихо жил себе, работал...» А исправник смеется: «Ведите его, молодчика, да покрепче закуйте; он уж по четырем ревизиям пропущен, ему и имени Христова нет...» И повели его на Екатеринослав особо. Так сказывала Шутовкина купца попадаья...» — Левенчук встал, оправился. Встала и Оксана. «Ну, Оксана, теперь ты будь готова. После Троицы зараз повенчаемся! Я пойду на корабли, договорюсь... Я уж устрою... Не житье нам точно здесь становится. Набрехал-таки Милороденко, иль оно уж изменилось! А ты только будь, значит, готова; не в Туретчину, и тут найдем место! Вон и в прошлое лето шел на заработки, с чужим мещанским пачпортом, за Елисаветград. Ну, да и места же это по Днепру, Оксана! Зашел я в такую лощину: все балки, песок красный, слюды блестят на солнце, тюльпаны дикие, как колокола, цветут, алые и желтые, по степям и по ярам, — пахнет, весело, привольно... Вот хоть бы туда! Будь только готова; уж мы спрячемся — а там, слышно, и волю всем скажут! Согласна, серденько мое?» — «Согласна!» — «Так жди же меня, жди, жди!..»

Близился день Троицы, храмового праздника в хуторе отца Павладия. Соседние колонисты, беглые и всякий обычный, захожий люд в окрестности свято чтили и помнили этот день. Отец Павладий, от студеной весны ли-

шившийся всех своих пчел, затевал давно завести новую пасеку, сторговал в соседней болгарской колонии двадцать колодок и со стариком дьячком, который был у него ходком по всем денежным делам, собирался ехать туда на своей пегашке, вслед за обеднею. Между тем он собирался нанять мимоходом, где случится, из своих более греховных прихожан, не раз после исповеди бывших в наказании на поклонах, десяток-другой подешевле косарей на свое подцерковное заповедное поле. Да, кстати, тоже с какого-то колониста к этому же дню следовала получка капиталца и процентов, по пятнадцати этак на сто, за полгода. Таковы уже заразительные обычаи этого коммерческого новороссийского люда. В минувшем году отец Павладий пустил часть круглого капиталца на соседний порт в доле с каким-то греком через того же дьячка, скупив малую толику пшеницы и льна. А немало денегат блуждало и по северным уездам губернии, и по Дону, и по Кубани, оставляя под залогом в сундучке и в комодах отца Павладия серебряные ложки, браслеты, столовое белье, расписки, часы, даже ордена отставных майоров и ротмистров, ныне усердных плантаторов по рекам Мертвой, Кобьельной и далее до Яны-Салы.

## VII

### Новая сабинянка

Троицын день начался радостно для отца Павладия и прочих обитателей Святодуховского хутора. Седенький рябоватый дьячок в ожидании обеда с выпивкою винца метался, прилизанный и прифрантившийся с утра, между прибранною заранее церковью и домом священника. Дьячиха варила ешь батюшке, себе и гостям, обыкновенно наезжавшим сюда к храму. Отец Павладий ловко спрятал в своих каморках к месту книги, журналы и газеты, бог с ними — нелюбимого местными господами Гоголя и гонимого директорами соседних училищ Белинского (кото-

рого отец Павладий в простоте души звал не Белинский, а Белинский), накурил весь дом немилосердно ладаном, так что суетившаяся с утра Оксана вбежала было, уже во время обедни, с чем-то в спальню батюшки, торопясь скорее покончить хлопоты, что-то поставить, что-то взять, надеть последние две ленты в косу и пойти степенно и величаво в церковь, но остановилась в клубах непроглядного дыма, pokrutila носом и, ухватясь за глаза, выскочила на крыльцо. «Уж это верно, батюшка раскутился; верно, росным или смирную так накурил!» Еще раза два простучавши по зеленому двору быстрыми пятнами, Оксана наконец заперла ворота и пошла в церковь. На ней была новая ситцевая красная юбка, синие шерстяные чулки и козловые башмаки, только что из лавки. Много было там господ. Много экипажей стояло у склона байрака, между кустов и под рощею, у возделанного отцом Павладием пруда. Церковь, вся обросшая и густо укутанная белыми акациями, сиренью и липами, едва оттуда торчала золотою маковкою. Чинно прошла обедня с акафистом и с коленопреклонением. Накануне была отслужена обычная панихида по умершим, былым приснопамятным переселенцам на Мертвые Воды. Как плакал обыкновенно в такой канун за панихидой отец Павладий, живой свидетель гибели этих переселенцев, так он прослезился и на этот раз. «Господи, помяни сих... сих несчастных, умерших, умерших разом!..» — прибавил он теперь такие свои слова к заупокойной молитве, просветлев от горя и вспоминая в числе «сих несчастных» и свою молодую чернобровую покойницу, по приезде сюда всех пленившую своим тихим нравом и белизною лица. Круглый и тучный, с красноватою лысиною старичок всегда казался особенно мил в этой маленькой чистой церкви, усыпанной песочком, утыканной от полу до потолка, по углам и по иконостасу свежими ветками, срезанными с рослых лип и берестов, посаженных его собственною рукою. В лучах света, прорывавшихся в распахнутые окна, празднично мелькали, кланяясь, черноволосые и русые головы, тихо и степенно мелькал в какой-то

старенькой лиловой с разводами ризе сам отец Павладий, усердно кадя в лицо всякому и тихо повторяя молитвы. А козловатый дишкантик дьячка, благодушно ухмылявшегося на клиросе, мешался с песнями соловьев, гремевших с веток рощи, обступившей церковь. Были в церкви русские поселяне и многие колонисты. Последние красовались в своих особенных народных одеждах. Но вот что случилось на обедне. Неся святые дары на большом выносе, отец Павладий вышел из алтаря, читая внятно поминанья, медленно поднимал глаза, сперва было упершиися в загорелый затылок дьячка, не успевшего отойти вправо, и увидел в двух шагах от себя Панчуковского. Сердце невольно у него екнуло. Он его здесь никак не ожидал увидеть. «Где же, однако, Оксана?» — без всякой причины подумал он, читая молитвы. Продолжая по-прежнему говорить поминанья, он повел глаза влево, как бы ища кого, и радостно остановился на преклоненной, перед выносом даров, своей воспитаннице, Оксане. Отец Павладий был так любезен, так в духе, что после службы пригласил многих к себе обедать, не забыл и Панчуковского ласковым словом. «А у меня от вас, полковник, был посол, — сказал он, простодушно хихикая, — кажется, господин Михайлов, студент на кондициях у купца Шутовкина, и я ему дал по вашему ручательству триста целковых-с». — «Очень благодарен». — «Не угодно ли же и вам ко мне закусить?» — «О нет, извините; я сейчас на три дня уезжаю на торги, за Дон; там степь отдается, ее Шульцвейн хочет взять; ну, мы и поторгуемся». — «Вот как!» — «Да пора же нам, русским, за ум взяться с немцами!»

«Ого! — думал отец Павладий, скидая рясу в алтаре и спеша к другим гостям, — даже с Шульцвейном тягается! Дока, туз! И отлично, что я пристроил под его ручательство часть денег! Это все то же, что наш Ротшильд!»

Гости пообедали и разъехались рано. Оксана прислуживала за столом. Отец Павладий, покушав, задернул занавески в спальне, заснул, встал, выпил квасу и уехал с дьячком, как собирался, за пчелами, в надежде принанять под них еще подвод на месте.

— Смотри же, Горпина, — говорил он, уезжая, — не бросайте так горниц; день праздничный, много народу к пруду за водой шатается; еще чего бы не украли.

— А мне, батюшка, можно за рошу к девушкам пойти, когда сойдутся к байраку песни петь? — спросила Оксана.

— Можно, только без Горпины не ходи. Ты знаешь, всякий народ по праздникам бывает. Я ее со свету за тебя стоню!

И тележка отца Павладия запрыгала по кочковатой дорожке.

Пришел вечер. Заря разыгралась с невиданною роскошью. К байраку за водой сошлись и съехались для утреннего запаса гребцы и косари. Толпы разошлись по пригоркам; взялись за руки, стали песни петь. Девки стали в «хрещика», в «коршуна» играть, разбегаясь с звонкими песнями и с веселым хохотом. Дукаты блещут, ленты развеваются. Явилась и скрипка откуда-то. Пляс поднялся. Парни долго пока стояли в стороне, посмеиваясь и, по обычаю, громко хвастая разными разностями. Одни пасли тут же лошадей, сопровождающих всегда косарские партии, другие играли в карты, третьи в орлянку.

— У меня, братцы, семь целковых есть!

— Ова! Уж и семь; а у меня двадцать дома зарыто.

— Брешешь!

— Ей-богу!

— А по мне так три молодницы в Ростове убиваются... да я не жалаю!

Взрыв хохота.

— То, может, три свиньи, а не три молодницы! — кричат девки.

Хохот усиливается.

Хвастун, как говорится, «у серка очей позычает» (у волка глаз занимает) и не знает, куда деться от града насмешек. Шум, беготня обращают внимание на другое место. Ночь стемнела. Пары девок и парней расходятся по сторонам, по полю и к лесу. У пруда шалуны огонь было разложили и опять его потушили.

Тут произошло необыкновенное событие. Наутро заговорил о нем весь околоток.

Но надо воротиться несколько назад.

Утром в тот день перед обедней к Панчуковскому приехал купец Шутовкин.

— Я к вам, полковник, с просьбой! — сказал он. Это был грязный и жирный толстяк, с маленькими свиными глазами, с одышкой и с миллионным состоянием.

Шутовкин отерся и сел. На дворе было душно.

— Вы меня извините... Нападают на мои привычки товарищи, что я барином тут вволю живу, не скаредничаю... Вот у меня дети; я учителя при них держу, и отличного... Но ведь я вдовец... Понимаете?

— Так-с...

— Так помогите же мне, полковник, обделать одно дельце... Понимаете?

— Какое?

Купец засмеялся. Жирные глазки его слезились.

— Край здесь на женщин плохой; их нет здесь. Я давно, видите ли, ищу кого-нибудь взять к себе в подруги...

— Ну-с, что же... И с богом!

Купец крикнул и отер лицо.

— Здесь, видите, глушь, дрянь все народец; сплетни сейчас заводят, смеются... Я было решил дело попристойнее завести — за свою гувернанткую как-то приударил, к детям ее было нанял; так не поддалась. А теперь уж просто даже влюбился, наметил одну девочку. Вы человек холостой, поймете меня... Я решился увезти одну особу...

Панчуковский протянул гостю руку, но вместе с тем думал: кого же это он?

— Браво, Мосей Ильич! Кто же эта особа?

Толстяк оглянулся кругом и, сопя от одышки, прошептал, трепля по руке полковника:

— Одна тут колонистка есть, болгарка, девка просто ошеломительная... Что делать! Я уж и старух к ней подсылал, видите ли, подарки ей делал, — ничто не берет...

Такая рослая-с, как кедр ливанский, всю душу изморила. Решился я ее просто живьем-с украсть; завезу ее на свой завод или в город прежде, спрячу и в недельку, авось, ее завербую совсем!

Шутовкин перевел дух. Пот валил с него в три ручья, а руки и губы его дрожали. Панчуковский чувствовал к нему отвращение, но слушал его усердно.

— Полковник, — сказал гость, — мы с вами коммерческие дела обделывали, помогите мне в этом! Я к вам обратился как к доброму человеку. На людей своих мы положиться вполне не можем; у вас дворян дружная подобрана, да и они ничто перед вами. Я у вас навеки останусь в долгу. Помогите!

— Как же мы дело устроим, Мосей Ильич?

— Сегодня вечером у Святодуховки по поводу праздника, как я узнал, соберутся с окрестностей девки и парни; мы подъедем двумя тройками, моя красавица тоже там будет... Ну, а уж самое дело покажет, как его порешить...

Полковник встал.

— Согласен, извольте. Абдулка, Самусь! — крикнул он в окно своим любимцам. И, запершись в кабинете, господа обдумали все как надо.

— А полиция? — спросил Панчуковский. — Ведь эти болгары народ мстительный и злой, не то что наши: пойдут с ябедами. Станут искать пропавшую...

— Э, полковник! Какие вы пустяки, извините, говорите, а это зачем?

И Шутовкин потрепал себя по бумажнику. Боковой карман был туго набит.

Уже поздно, к ночи, парни и девки у святодуховской рощи затеяли прыгать через огни, как на Ивана Купалу. Священника не было дома, и некому было запретить это прыганье. Кто-то было поднял голос и сказал: «Что вы, озорники, делаете? Этого не позволяют и на Ивана, а вы теперь затеяли. Не вовремя такое дело, беду несет!» — «Своя воля!» — отозвались из толпы. Принесли парни

и девки соломы, веток, бурьяну, разложили костерки от оврага к роше и стали с разбегу прыгать, ухватясь руками и гадая: чьи руки разорвутся над огнем во время прыжка, тому в тот год не венчаться. Голоса стали звонче, шум и гам усиливались. Подошли новые парни, в том числе люди Панчуковского. «Э! с вами бегать — горе наживем!» — со смехом отнекивались девки от исканий полковничьего Абдулки и еще одного рыжего парня. Но на слова: «Сударыня-боярыня, пожалуйста ручку!» — руки подавались, как и другим. Нечего говорить, что в это же время, как знакомцы и незнакомцы потешались в виду подцерковной рошицы запретною игрой, поодаль к двум курганам впотьмах подъехали и стали у оврага коляска и телега. «Тише, тише!» — распоряжался с телеги, не вставая, толстяк Шутовкин. Часть его подобранной шайки смешалась с играющими, двое залегли на дороге в кустах, а Самусь, полковник и он сам ждали у лошадей. Полковник, слегка бледный от ожиданий, стоял, облокотясь о свою коляску, запряженную ухарскою скаковою четвернею, молча глядел в темный воздух, в ряд мелькавших огоньков и покручивал усы.

«Что-то нейдут, не слышно ничего! Как-то дело разыграется? — думал Панчуковский. — Утащить, схватить не шутка; да как уйти от погони? их ведь не шестеро там...»

Шутовкин только удушливо сопел и неподвижно с огромной телеги глядел вдаль, прислушиваясь к играющим у огней. Лошади стояли, опустя уши, и только изредка вздрагивали, дремля и лениво переступая с ноги на ногу. Многие думалось полковнику. Он вспоминал щегольской Питер, изящную гвардию, товарищей, оперу, разные прочитанные романы, разных нежных барышень, в которых еще недавно влюблялся, и соображал, каким разбойничьим и смелым делом теперь ему пришлось заняться: чистый Стенька Разин или, по крайней мере, Казы Магома и Шамиль, укравшие Орбелиани и Чавчавадзе. «Эх, край! — думал он, — чистый эдем!» Не успел он раскинуться мыслями, как со стороны сторожи, лежавшей

в кустах, раздались голоса: «Шш... бегут!» — и в то же время вдали у огня произошла какая-то сумятица и свалка.

Через минуту Шутовкин и Панчуковский слышали, как по полю, впотьмах, тяжело бежало несколько человек, то останавливаясь, то опять ускоряя шаги, как бы борясь с кем-то по дороге. Вбежав в кусты, эти лица ускорили бег, соединившись с засадою. Еще через секунду раздались и сдержанные крики: «Ой-ой! пустите, пустите», — и прямо к телеге плотоядно трепетавшего Мосея Ильича с размаху была притащена бившаяся белая фигура. Косы у нее были раскинута, грудь распахнута, одежда изорвана.

— Душечка, душечка, перестань! перестань! — шептал Шутовкин, ловя ее с телеги впотьмах жадными дрожавшими руками, и едва из сил выбившаяся прислуга свалила ее к нему в телегу, он закричал обезумевшим от радости голосом:

— Погоняй, валяй! гони вскачь! бей!

И оба экипажа шарахнули по предварительному условию в разные стороны. Развязанные колокольчики зазвенели и понеслись, то смолкая, то опять звеня и пропадая вдали. Они скакали без умолку, летя без дороги. Отскакав версты три, экипажи опять подвязали колокольчики и понеслись неслышно в темноте далее. Но среди их неожиданно появился, как бы также по условию, какой-то верховой и полетел с колокольчиком в руках, звеня, в третью противоположную сторону. Он уже сбил слушавших окончательно.

Толпа играющих между тем едва могла опомниться от изумления. В конце вереницы уже погасавших огней произошла безумная суматоха. Пробежала молва, что какой-то парень, крепко ухватив за руку девку, потащил ее насильно. «Не дави, пусти, а то брошу!» — говорила она. «Не бросай, скачи, а то не повенчаемся, как разорвемся!» Она засмеялась и не вырвала руки. Пары побежали. Эти же двое вдруг отделились и побежали в сторону, в поле. Девушка все еще смеялась и отбивалась слегка. Но к ним прибежали еще двое. Они скрылись в темноте. Раздались

крики: «Ой-ой! спасите, не пускайте!» Парни сбежались на то место. «Кого это кто подхватил?» — «Милованку, Милованку, девку из колонии!» — «Кто же это?» — «А бес его знает!» Оглянулись, стали перебирать меж собою, кто это недоброе такое затеял. Смотрят — знакомые всем полковницкие люди тут, и Абдулка между ними стоит и тоже мечется, будто ищет, кто бы это такое затеял. А крики все дальше и дальше по полю...

— На коней, братцы, на коней! — закричала толпа парней. — Где наши кони? в погоню за ними, отбивать! Бей их, бей! Как! наших девок красть! Бей... души их!..

Парни кинулись на пастбищный луг за лошадьми, поскакали верхами по звуку колокольчиков, а другие побежали пешком в стороны. «Садись и ты на коня!» — кто-то крикнул Абдулке. «У меня свой тут», — ответил тот и поскакал также. У него был за пазухой колокольчик. Влетев в степь, он вынул его, зазвенел им, повернул коня назад и сбил этим дружную погоню. Ему это было не впервые: закубанский татарин, он еще недавно набивал руку на подобных наездах.

Костры между тем стали потухать сами собой, девки разбежались первые.

— Пойдем и мы, тетка, скорее домой! вот страсти! — говорила напуганная Оксана тетке Горпине, между тем сильно подгулявшей с какими-то солдатами, тут же у пруда, и едва волочившей ноги.

— Ох, бабо! скорее, скорее пойдем! да нуте же, двигайтесь шибче! вот засиделись тут! а неравно батюшка приехал; что тогда нам будет? Скорее, скорее, скорее! вот страсти! я сама вся мертвая...

— И, моя кралечко, а так-таки ничего; сказано: повеселились, ну и все тут! — отвечала Горпина, сильно пошатываясь, при помощи Оксаны спускаясь в овраг и в рощу и беспрестанно спотыкаясь. Оксана ее поддерживала, пугливо к ней прижимаясь и в ужасе вглядываясь в темные, будто враждебные ей, ветви раkitника.

А в темноте теплой чудной ночи то там, то здесь носились какие-то шорохи, свист раздавался, топот конский

звучал, крики издали проносились, и ни одна звездочка не освещала темной, непроглядной ночи. Байрак замолк. Зазвенел еще где-то за холмами колокольчик, зазвенел и опять затих. Молчала вся таинственная, обворожительная новороссийская ночь...

«Господи! выручат ли они ее?» — подумала, перекрестившись, Оксана. Плетень затрещал под ее рукою. Она перелезла во двор и отперла ворота.

Введя тетку Горпину в кухню, Оксана уложила ее тотчас спать. Сама она не решилась лечь, по летнему обычаю, на дворе, на крыльце, а тоже легла в кухне, заперла двери на замок и, наскоро помолившись, вернулась, еще дрожа от неожиданных страхов, и стала думать: «Вот страсти, так страсти! Боже! Боже! где-то теперь мой Харько! И батюшки нашего до сих пор еще нету! Что это значит? Господи, спаси нас и помилуй...»

Оба экипажа, верст за шесть, опять съехались. Продолжал скакать в противную сторону один Абдулка, сбив погоню парней.

— Поздравляю, Мосей Ильич! — сказал Панчуковский, доскакав до осинової рощицы и выпрыгнув из коляски.

— Спасибо, Владимир Алексеич! — отвечал тот, протягивая впотьмах Панчуковскому толстую руку и ловя его за плечи. — Позвольте вас обнять! Эта роща, эти осинки останутся у меня навсегда памятны...

Похищенная колонистка сидела молча, тяжело дышала и не поднимала от колен лица. Она была связана вожжами.

— На завод! — крикнул кучеру Шутовкин. — Благодарю еще раз, полковник. Я у вас в долгу. Пошел!

— Будьте счастливы!

Тройка Шутовкина выбралась снова из лошинки в гору, от условленного места свидания, от осинок, и поскакала по пути к салотопенному заводу Мосея Ильича, бывшему от его собственного незаселенного поместья верстах в пятнадцати. Там Шутовкину предстояло среди уединенного, почти пустого летом, хутора, как новому рыцарю Теобаль-

ду, склонить или не склонить на свою сторону сердце похищенной им новой Элеоноры.

Панчуковский между тем стоял впотьмах, в раздумье, у осинок. «Завтра надо ехать на торги! — мыслил он, — все хлопоты и хлопоты, а счастье все как будто за горами! Где же оно? Где? Что, как бы теперь же и мою?..» И дух у него замер. Он прошелся раза два у коляски. Верный Самусь оправлял лошадей. Чужая удача охмелила полковника.

— Самусь!

— Чего угодно?

— Абдулки еще не слышно?

— Никак нет-с.

— А скоро будет сюда, как думаешь?

— Должно статься, скоро.

Панчуковский стал вслушиваться. «Да или нет? — думал он с тревогой в сердце, вдыхая нежный запах хлебов и трав и тихо похаживая возле коляски. — Ехать ли на торги, или и мне порешить теперь же, в эту ночь, с моею красавицей задуманное, желанное, небывалое еще и не испытанное мною?.. Нет, это будет слишком дерзко! Я-то уж никак не уйду от преследования. Меня узнают, отыщут ее... А чудная, чудная девушка! Нет, нет... Еду на торги, отсюда же прямо еду... Ведь сорок верст».

— Самусь! — сказал он и не успел услышать ответа, как со стороны осинок из-за косогора послышался еще отдаленный, а потом близкий топот лошади, бежавшей вскачь.

— Абдул-с Албазыч! — сказал Самуилик, — это он-с...

Панчуковский выждал, встретил Абдулку, сел наземь, велел к себе ближе подойти Абдулке и Самуилику и сказал:

— Так как же, ребята? А нашему делу разве пропадать, а?

— Нашему-то? — спросил Абдулка, стирая с лица пот.

— Да.

— Ну, нашему и подавно, ваше высокоблагородие, не следствует пропасть! Полагать должно, что и нам не приходится зевать.

Полковник достал из коляски припасенную флягу водки, дал кучеру и слуге по стакану, дал им закусить из собственного складня, выпил сам и закурил сигару.

Лошадям дали вздохнуть, попасли их с час на траве. Полковник лег на разостланном коврике и думал: «Вот край! вот места, эта Новороссия! рассказать бы о них нашим питерским! О, какое раздолье во всем! Что за ночь, какие чудные таинственные романы она здесь покрывает?»

Панчуковский велел готовиться в путь. Лошадей опять запрягли. Он сел в коляску, а Абдулка поехал за ним верхом. Всю дорогу говорили они шепотом, ехали шагом.

Ночь между тем будто еще более стемнела. В первый раз уже прокричали петухи. Месяц в то время показывался только перед самым утром. На дворе отца Павладия все было спокойно. Тетка Горпина крепко спала в сенях кухни, оглашая их изредка храпом. Оксана нарочно ее положила спать на пороге, у выхода из сеней на крыльцо, а дитя Горпины положила в кухне. Самой Оксане долго не спалось, как она ни мостилась для этого. Уж она передумала с полкороба и о Харько, и о том, что он обещался явиться вскоре после Троицына дня. Перекидывала она в мыслях картины ожидаемой своей свадьбы: как она оденется, как пойдет в церковь, как на нее люди будут смотреть, а ей жутко, и весело, и страшно. «Что, как бы Левенчук пришел в эту самую ночь?.. — неожиданно подумала она, — вот бы до смерти обрадовал, и эти страхи прошли бы сейчас! Да что я, в самом деле, какая-таки я дура! Где ему теперь шляться по ночам; он на неводах...»

Оксана с этою мыслью повернулась к стене, сжала глаза и решила окончательно заснуть, как в сенях скрипнула половица. «То, верно, тетка Горпина проснулась и ищет воды с похмелья напиться!» — решила она. Шаги опять раздались уже под окном, и после кто-то взялся за ручку двери, подумал, что она, верно, заперта снутри, и затих... «Левенчук!» — мысленно решила Оксана и быстро в восторге вскочила с постели. Ей стало вместе и страшно, и радостно.

Озноб пробежал по ее спине. Дыхание замерло. Она в одной рубашке подбежала к окну: как ни темно еще было на дворе, но в сумерках ей показалось, что какие-то две тени прошли по двору. Мысль о возвращении дядька и отца Павладия, а потом вдруг о ворах мигом блеснула в ее голове. Как была, раздетая, она кинулась за печь, постояла, вся дрожа от испуга, а потом стала наскоро одеваться. Что, как придут и зажгут огонь, а она раздетая! «И кто бы это был? Как спокойно ходит по двору! Верно, батюшка, да сердитый приехал! Достанется и мне теперь!» Наскоро накинула она юбку, стала повязывать вокруг головы косы и в ужасе ахнула. Дверь быстро отворилась, и с зажженной восковой свечой в кухню вошли бледный и взволнованный Панчуковский и сияющий Абдулка. Оксана сразу не успела осознать всей опасности своего положения; но в первый же миг узнала и свечу, взятую у киота в комнатах отца Павладия, и вспомнила, что даже спички там на столике лежали. «А где же тетка Горпина?» — подумала она, глупо запахивая рубаху и прижавшись за притолок печи. Но свечу вошедшие сейчас задули, едва окинув глазами кухню.

— Что вам? — тихо спросила Оксана из-за угла печи, не зная в лицо пришедших и слыша, что они к ней идут.

Ее мигом впотьмах схватили две крепкие руки и стали вязать. Она крикнула сперва: «Тетка! тетка Горпина! — силась отбиться, но вслед затем крикнула громче, по местному обычаю: — Кто в Бога верует, рятуйте!» Недолго с нею боролись полковник и Абдулка. Они завязали ей рот, и стянули вожжой ей ноги и руки, и бережно, тихо перешагнув через тетку Горпину, понесли ее двором через плетень, и церковною оградой и ложиной оврага вышли к пруду и к роще. «Это удивительно! — думал Панчуковский, неся Оксану и передавая ее Самуёлику, — как спокойно и беспрепятственно унесли мы эту драгоценность отца Павладия! И арбузов по ночам с бакши так счастливо не воруют тут ребятишки!»

— Вот же вам, ребята, пока по червонцу; а доставим до места, будет еще по два! — сказал полковник, уложив

в коляску Оксану, и сам стал моститься к ней. Вопреки Шутовкину, дрожавшему при покраже своей красавицы, полковник был совершенно спокоен.

— А старуху, ваше высокоблагородие, ослобонить? — спросил Абдулка.

— Развяжи ее, освободи!

Абдулка сбегал обратно во двор отца Павладия, обошел снова все комнаты священника, поставил на место к киоту свечу, запер все двери, снял веревку с ног и с рук тетки Горпины, не чувствовавшей с похмелья ничего бывшего в ту ночь с нею, перешагнул опять через нее и снова побегал к коляске.

— Что ты так долго был там?

— Жаль было веревки; это, ваше высокоблагородие, на нее с новых постромок захватил!

Коляска, подхваченная быстрою четвернею, понеслась легче ветра. Теперь обычай полковника ездить не иначе как вскачь особенно пригодился.

— А мне куда? — спросил, провожая барина, Абдулка.

— Ты ступай домой. Да смотри, молчи обо всем!

— Слушаю-с, будьте спокойны.

История вышла громкая, но ее драма завершилась еще неожиданным отступлением. Толпа подпивших у раKITника парней погналась, по слуху, за колокольчиками, отбивать похищенную колонистку. На дальнем перекрестке у мостка, над дрянною мочажинкою, поросшею вербами, парни наскочили на какого-то верхового. Крики: «Бей, бей! души их, лови!» — его испугали. Он притих на седле и вздумал было ускакать в сторону, от мостка к вербам. «А, сюда! вот он! держи его!» — заорала толпа, и пойманный ею верховой был стащен с лошади. «Кто ты? где она? где вы ее девали?» — горланили парни. Почтенный друг Вебера, арендатор Адам Адамыч Швабер (это был он), трухнул не на шутку. Он ехал также с тайного свиданья, от одной молочанской вдовы из раскольников, бережно хранимой им от своей супруги и от всех, и теперь испугался вдвойне

и того, что его окружила толпа пьяных, и того, что могли открыть его происхождения. Он стал запирается, что ничего не знает и не видел.

— Да что его слушать! Бей его! Розог сюда, розог! — гаркнула пьяная толпа. С почтенного отца семейства стащили зеленую куртку, сбили с него шляпу, положили его на траву и всыпали ему сотню вербовых, да таких, что лучше бы и не вспоминать этого.

— Ну, теперь, дядюшка, ступай и не поминай нас лихом! Может, и не ты, а все-таки поделом!

Изумленный, огорченный и до смерти напуганный Швабер остался один, оделся, с трудом снова взлез на коня, едва добрался до своего домика, охая, вошел в комнаты и лег спать в кабинете вместо спальни. До утра он проплакал и мысленно ругался на все лады. Но событие той ночи он положил скрыть от всех и скрыл, как серьезный и честный немец.

Купец Шутовкин, поместив свою Дульцинею на салотопенном заводе, в пустой хате, под стражей двух верных слуг, до того забылся в своем счастье, что, несмотря на детей, стал к ней ездить явно, среди бела дня, проводя у ней целые сутки и дрожа над ее белым молодым телом, как ревнивый турок. Он забыл и детей своих, и пересуды всего околотка. Скандал вышел в окружности общий, небывалый. Все костили грязного сластолюбца на чем свет стоял. Процеживали сквозь сотни сит каждую весточку о его переездах к ней, о том, как через какой-то неглубокий ручеек он по ночам пробирался к своей красавице, несмотря на собственную тучность, на особо устроенных ходулях; какие ей давал имена, как вел себя у нее. Это все уже мигом узнали пытливые умы. Только, как обо всем обычном, об этом также говорили недолго. Прошла молва, что болгары той колонии, откуда была эта девушка, ходили жаловаться в стан, а потом в суд; ходили и к самому купцу, — но кошелек точно произвел свое: угомонился и становой, и суд, и грозные обруселые болгары, и сама похищенная. Через

три недели она свободно уселась в фургон Мосея Ильича и открыто переехала к нему в дом, на новое диво всех новороссийских его соседей, детей и их учителя, студента Михайлова.

Зато с Оксаной была другая история. Оксана как в воду канула. Прискакали на другой день без памяти отец Павладий и дьячок; они все узнали еще дорогою и накинулись на дьячиху.

— Где Оксана?

— Не знаю; так и так, попритчилось.

Дьячок схватил старую Горпину за седые косы и стал бить ее и мотать по хате. Священник обезумел от горя.

— Что ж делать! Бейте, не бейте, а я не знаю; пропала моя душа! — стонала под жестокими ударами дьячиха Горпина.

— Да где же ты была, подлец баба? где была? — допытывал дьячок.

— Что же! напоили люди, солдаты какие-то у пруда... Я была с нею там, а после заснула в сенях, а тут и попритчилось.

— А! солдаты у пруда! Иди же сюда... — Дьяк запер жену в чулан, пытал, но ничего не открыл. Не мог ничего открыть и отец Павладий...

«Ту, положим, украл купец; а эту? Панчуковский? Так нет же; он еще с утра уехал за Дон».

Так думал священник.

И точно, самого Панчуковского во время пропажи Оксаны дома не было. Это знали все. Через три дня он воротился из-под Ростова, где его видели все, как он там был и спокойно торговался о степи. Шульцвейн уступил, Панчуковский надбавил большую цену и взял у владельцев степь себе.

Куда же помчалась коляска полковника в конце ночи, огласившей тихие и уединенные берега Мертвой двумя похищениями? Очень просто: Панчуковский увез свою пленницу на арендуемую им у одной донской помещицы землю, оставил ее там под надзором Самуйлика, а сам с другим

батраком, сторожившим его уединенную пустку (хижинку между двумя овчарскими загонами и чабанской хатой), поспешил на торги. Оксана была спрятана за перегородкой. В ожидании барина, услужливый Лепорелло предлагал ей есть и пить, но она упорно от всего отказалась и ничком на кровати пролежала до вечера. Под вечер полковника обратно примчала бойкая четверня. За повозкой ехал и знакомый фургон Шульцвейна; но его хозяин сидел в коляске с Панчуковским и с ним вошел в пустку, продолжая по-немецки разговор и спор о перебитой у него аренде. Оксана слышала все из-за перегородки и не решалась отозваться. Она считала гостя за приятеля своего похитителя и не знала, что этот самый гость первый ему когда-то сказал о ней и первый любовался воспитанницей отца Павладия. Посидел немного Шульцвейн, понюхал табачку, спросил еще раз со вздохом: «Так вы не отдадите мне этой степи и за отступное?» — получил отказ и взялся за шапку.

— Вы слышали, — спросил колонист, выходя на крыльцо и продолжая речь по-немецки, — вы слышали, — там на торгах, как вы уже ушли к хозяевам, приехал купчик с Мертвой и привез известие — странное известие — о покраже сегодняшнюю ночью двух девушек, возле рощи вашего соседа, священника, и будто одна из похищенных та самая воспитанница священника, о которой я вам когда-то, помните, говорил?

— Нет, не слышал! — ответил полковник, бережно забирая за собою двери.

— Жаль, — сказал, уезжая, Шульцвейн, — таких господ — это, наверное, наши помещики либо офицеры-грожане, — их бы давно пора остановить... Это скверно, подло! Прощайте! Напишите мне, кто это.

— Прощайте! с удовольствием!

Колонист уехал. Панчуковский отослал людей на овчарню, вышел, осмотрел кругом свою пустку, вошел туда обратно, запер за собою двери, постоял в сенях и тихо ступил за перегородку. Оксана сидела, опустила голову на связанные руки.

Между тем пора, назначенная Левенчуком для последнего выкупа Оксаны, давно прошла. Отец Павладий ходил по комнате, заложа назад руки, выглядывал в степь, подходил к байраку, к пруду: «Вот здесь она белье мыла, тут часто шила, птицу стерегла. Ах, подлец же, подлец Панчуковский! что выкинул! Это он, он! больше некому. Зверь-кровопийца, и по-звериному запропастил ее без следа!» — так думал отец Павладий, и сердце уже не манило его по обычаю пойти запереться в спальне, перебирать и считать депозитки новых барышей. Зато же он наседавал на литературу. По целым дням читал новые московские и петербургские журналы, а на книгу «Сельское духовенство в России» стал даже разбор писать, охая, сопя и не зная, где лучше выбрать студеное местечко в доме для работы. А кругом наступала последняя знойная, душная пора уборки хлебов.

Раз привез попу дьячок из города почту. Он кинулся прежде на газеты, единственную роскошь своего пустынного и глухого степного быта.

— Боже, опять публикация о беглых! Эх их сколько! Когда-то этому конец будет?

И он стал читать, наскоро разрывая пакеты херсонских, таврических, донских и прочих местных ведомостей.

— Послушай, Фендрихов, — говорил он дьячку, степенно стоявшему у дверей, — вот что пишут. Дай-ка платок носовой... Да трубочку набей... за табаком надо съездить... Слушай, вон в таврических пишут: «Оное же правление извещает, бежал в третий раз, четыре года назад, Макарославской губернии, Южнобайрацкого уезда, дворовый человек помещика Студныченко, Василий Милороденко, он же по прозвищам в бегах: Александр Дамский и Аксен Шкатулкин. Бежал он, обвиняемый в сообществе с нахичеванскими армянами, делавшими фальшивые ассигнации, и в подделке для придонских пристаней, беглым же людям всякого звания, паспортов. Приметы ему: нос, рот, подбородок и уши умеренные, глаза карие, волосы и усы темно-русые. Особых примет не имеется. Говорит хоро-

шо по-русски, веселого нрава, вежлив и выдает себя иногда за человека высшего круга; более нанимается в лакеи и в приказчики, а в часы загула ходит по шинкам и собирает с бубном, играя на нем за деньги. Почему оное правление, ведя дело о паспортах и фальшивых ассигнациях, нашедшему или указавшему его обещает дать приличное вознаграждение и покорнейше просит все подлежащие присутственные места не оставить...» и проч.

— А? Фендрихов! слышишь?

— Слышу-с, ваше преподобие! Подло-с.

— Ведь это тот самый Милороденко, друг Левенчука, что и у нас на подцерковной два года назад косил? Как ты думаешь?

— Тот-с; я его еще с двора прогнал тогда: к нашей Оксане еще, безобразный человек, тогда подбирался, ваше преподобие...

— Эх, Оксана, Оксана!.. Да ты слышишь — фальшивые ассигнации делал и паспорта... А это ведь каторгой пахнет! А кажется, и хороший человек. Повторяю тебе, Левенчук ему еще и приятель; он сказывал, что этот Милороденко на дворянке будто был где-то женат... Да где-то, Фендрихов, и Левенчук теперь?

Дьячок вздохнул.

— Да-с, срок-с подходит! на днях, полагать должно, он вынырнет где-нибудь, Оксану потребует либо деньги, выкуп назад.

— Что деньги! Не в деньгах дело! не их, братец ты мой, жаль! Жаль парня; хороший человек! Ведь голову потеряет, руки на себя наложит, узнал уж я его, что за человек! Как он надежды эти строил — поселиться за Кубанью или в Бессарабии хотел, а уж Оксану-то любил он, любил... Подло, Фендрихов, Панчуковский поступил! Не убоился таганрогской истории!

— Подло-с; распреподлеющий и развратный человек, и только-с. Сказано, смерд собачий, а не люд божий! Я бы ему голодному в голод али прозябшему в мороз, в метель, хлеба, места теплого не дал, я бы ему больному...

В это время в сенях скрипнули двери. Дьячок насторожил уши, шмыгнул туда, посмотрел, вошел в сени, поговорил с кем-то и явился в комнату смущенный.

— Ваше преподобие! там от этого самого Панчуковско-го-с, от полковника, приехали! — И такова сила богатого человека в свете: как ни бранили полковника эти люди, а появился простой посланный от него, и они потерялись.

Отец Павладий засуетился, оправился, даже прежде надел подрясник и вышел к приехавшему. Сначала он смешался, увидя, что это лакей.

— Что тебе, любезный? — спросил радушно отец Павладий, не поднимая глаз на посланного.

— Полковник прислали просить газет, что вы получаете, на день только, говорят, от скуки почитать! — ответил Абдулка (это был он).

Священник задумался. «Странно! — подумал он, — до сих пор ни разу не просил, или он прикидывается, чтоб показать, что совесть чиста, или, в самом деле, не он украл Оксану? Так где же она и кто ее украл?..»

Он вынул платок, сам не зная для чего, повертел его, высморкался.

— Так ты говоришь, что ему нужны газеты?

— Точно так-с.

Отвечая это, Абдулка бойко поглядывал по сторонам, как бы обнюхивая, в каком положении находятся стены здесь с тех пор, как он тут свободно ходил и ставил обратно свечку.

Священник вертел в руках платок.

— Это ему читать?

— Читать-с.

— Стало, он дома? Это скучает он, значит?

— Дома-с.

— Он что делает?

— Известное дело, барин! Больше пишут-с, лежат на диване или приказы отдают, либо курят... У нас тоже гости бывают.

— Кто же?

— Господа Небольцевы, немец Шульцвейн опять на-  
счет степи наезжал...

— А он ездит куда?

— Как не ездить! В поле ездят на работу; так куда-ни-  
будь, в гости...

Священник обратился к дьячку, у которого рот, с при-  
ездом Абдулки, как открылся, так и остался.

— Газеты, Фендрихов, на столе лежат?

— На столе.

— Все там лежат?

— Все.

— Ну, так ты ему это дай; а ты, видишь ли, любезный,  
полковнику кланяйся и скажи ему от меня... слышишь? от  
меня скажи: очень рад, да чтоб только листочков там не  
помяли.

— Будьте покойны-с.

— А косари почему? — нежданно и уже без всякой при-  
чины брякнул старик.

— По трехрублевику-с в день и по порции.

— Ай, батюшки! вот ломают! Ну, да я по трехрублевику  
не достану, где нам!

Посланный уехал. Священник вошел в комнату, стал  
перед дьячком, отер крупный пот с лица и расставил руки,  
а потом ударил себя по лбу:

— Вот опростоволосился! И чего я так его почтил? Что,  
брат Фендрихов, а? Каков тузище?..

Дьячок махнул рукой и зарычал:

— Голодному ли, в мороз ли, больному ли, а я бы ему  
отказал! Развратник, антихрист! Это он, другому некому, я  
уж знаю! Эк! анафема! И еще за газетами к нам же... Тьфу!  
и сраму им нет.

Газеты полковнику отвезены, но он их бросил, не читав  
и, следовательно, не имев случая узнать, кого разыскивают  
из новых беглых, за чем он прежде всегда следил, между  
прочим. Когда священник получил обратно газеты, он за-  
метил, что полковник их вовсе не читал. Они были в том  
же положении, как сложил он их, отправляя.

«Странно! — подумал священник, — так и есть, он их брал, чтоб только вид показать, что его совесть против меня чиста. Но с беглыми как бы он теперь не попался...»

## VIII

### ПЛЕННИЦА

Между тем как Мосей Ильич Шутовкин, поручив своих детей Михайлову, с незапамятным порывом отдался поздним опытам любви и плотоядно увеселялся в компании своей красавицы, а Михайлов, предоставляя малым птенцам клевать не одни зерна науки, но и всякие другие зерна, благодушно аферировал с мелкими окрестными торгашами, — в это время буквально никто в околотке не знал, куда делась вторая красавица. Таковы уже степи. Кто украл, догадывались сначала немногие; но потом и эти бросили свои догадки и почти перестали вовсе судить о них. Да и не к тому повернулись в ту пору общие толки и мысли. В это время подходила жатва пшеницы; пшеница начинала уже осыпаться, все хваталось за серпы и косы, а между тем носились тревожные слухи о саранче, что будто где-то, не то с Дону, не то из Крыма, она летела и близилась. С трепетом поглядывал Панчуковский на свой громадный рискованный тысячедесятинный посев пшеницы. Он частенько показывался на балконе верхнего яруса своего дома и, куря душистую кабанас или фуэнтес, всматривался в далеко волнующиеся сухим шорохом хлебные нивы.

— По чем у вас в конторе объявлена цена за съемку десятины пшеницы? — подобострастно спрашивали полковника мелкие соседи его, из небогатых дворянчиков.

— Дорого-с, — говорил, надменно подшучивая, новороссийский янки, — по девяти целковых за десятину, скосить только и сложить в копны! Осточертела мне совсем эта пшеница своими анафемскими расходами!

— А! по девяти целковых за одно это? вот сказать бы это в Питере!

Соседи ухмылялись улыбочками голодных собак, но тайне трепетали, что им надо будет тоже платить.

Но где же Оксана? Куда запрятал ее Панчуковский с той поры, как ее завез было на свой хутор, под Ростовом? Никто этого не знал и не ведал.

Знали соседи, что точно полковник ездил в день пропажи Оксаны на торги, был там с Шульцвейном и через три дня воротился. Стал он потом ездить всюду, по-прежнему разговорчивый, степенный, веселый и вместе серьезный, пленяя всех своим нарядом, обращением, прической и даже щегольскими ногтями. Глянет, по отъезде его, на свои лапищи и на навозоподобные ногти какой-нибудь Вебер или Швабер, или сосед-плантатор из русских же, рассмеется и плюнет на пол, не метенный уже две недели по поводу полевых работ.

— И когда у этих господ, — замечает иной из них, — времени станет еще на такое продовольствие ручек и ногтей! Тут некогда иной раз головы вычесать, бороды побрить; рубаху одну по неделям в степи таскаешь, так что после жена и в спальню к себе не подпускает! А он? Это непостижимо! и дела как будто идут еще лучше нашего! Вон и Шульцвейна, говорят, осилил... непостижимо!

«Сказать бы опять, что полковник, если бы похитил точно девушку, — думали иногда соседи, — то ворота бы затворял в свое жилище, а то нет: всякий входит туда и выходит оттуда свободно!»

Стены действительно были высоко выведены, не влезешь без порядочной лестницы на них ни снутри, ни снаружи. На воротах висели огромные замки. Снутри они еще запирались прежде на ночь на железные засовы, а теперь стояли постоянно настежь. В кухонный флигель, единственное здание, кроме конюшни, внутри главного двора (остальные здания: рабочие, кузница, овчарни, скотные сараи и ток были за двором в полуверсте), также всем позволялось ходить. В самом доме, наконец, внизу и вверх, окна были, как всегда, не закрыты ставнями. В нижних окнах, под полуопущенными белыми жалюзи, оторочен-

ными алыми фестонами, часто показывалась красивая русая голова владельца. Слуга, повар, кучер и приказчики отдельных частей, являясь из кухни и из задворных строений, так же свободно входили в дом за приказаниями и по делам домашнего обихода. Однажды только в это время полковника сильно огорчили некоторым громовым известием. На степь, перебитую им для своих овечьих стад у Шульцвейна на торгах, налетела с Кубани саранча и в два дня съела все камыши и травы. «Оборвалось! — сказал Панчуковский, — ну, да зато же немца в пыль стоптал!» И стада, вышедшие было из его хуторов на новые приволья, возвратились снова назад. Зато домашнее счастье выкупало теперь всякие потери, да и ожидался сбор с баснословного в крае посева пшеницы. «Сто тысяч дохода за глаза! — думал полковник, — за глаза!» Часто под вечер, высунувшись из окна кабинета в тень на воздух, когда солнце уже переливалось за другую часть красивого двухэтажного дома, кидал он на двор просо и кормил из своих рук голландок, кохинхинок, хохлатых разнородных кур собственного завода или сманивал к крыльцу, швыряя гарнцем крупы, целые стаи голубей, водившихся на крыше каменной конюшни. Голуби кружились, садились по двору стадами или, насытившись у крылечка, вились над большими тополями, осенявшими дом до верхушек окон второго этажа, полузакрытого ими. Ходила возле кур и голубей, ухмыляясь в счастье и в гордости хозяйки, одна подслеповатая батрачка, шестидесятилетняя добродушная карга Домаха, также из беглых. В бегах она пребывала уже более сорока лет, мыкалась во многих местах и была рада, что сперва пристроилась в Новой Диканьке кухаркою нанятых рабочих, потом коровницей и, наконец, птичницей. Домаха была совершенно седая и даже с седыми кустоватыми бровями, отменно шедшими к ее темно-оливковому, южному морщинистому лицу. Она постоянно где-нибудь смиренно копалась, отличалась мягкостью нрава и голоса, исполняла молча все, что ей давали, заменяла и огородницу, и водоноса, и дворника. Хотя теперь у полковника

во дворе в отличных деревянных конурах содержались на цепи два злейших цербера, но полковник, поглядывая иногда на них и на Домаху, шутливо думал: «Нельзя ли уволить и собак, и их должность также поручить Домахе? Она, верно, и лаяла бы с усердием по ночам!»

Итак, следов пребывания Оксаны у Панчуковского не оказывалось.

— У! проклятое бурлачье! оно горой за него стоит! — говорили мелкие соседи, изредка еще толкуя о лихой дворе не полковника, — точно вертеп Синея Бороды! Что попадет туда, пиши пропало: как в воду канет. То пробавлялся заходимы по воле красавицами, из окольных, а тут уж, как черкес, воровать живьем стал... Шутовкин тоже украл, да не прячется; а этот еще хитрит!

Являлись даже нарочитые соглядатаи к полковнику. Приезжали, между прочим, брат Небольцев, естественная дрянь, сплетник, слабохарактерный подслеповатый игрок и гаденький мот, в долгах, как в паутине, с целью будто бы купить браковых овец у полковника, а собственно поглазеть и понюхать, не спрятана ли где-нибудь в Новой Диканьке похищенная воспитанница отца Павладия. Его приняли очень сухо, но вежливо, и он уехал, ничего не открыв. Являлись в Новую Диканьку, будто мимоездом, из Святодухова Кута и дьячок, и сам отец Павладий. Даже губернатор, говорят, прислал полковнику при энергической ноте, для сведения и ответа, безыменный донос о передержательстве беглых крестьянок и «неизвестно куда пропавшей воспитанницы священника Павладия Поморского». Панчуковский мастер был отписываться; ответил губернатору резко и умно, а вместе с тем частно послал исправнику три ящика отличных дорогих сигар. Но не мог полковник не обидеться на выходы соседей из более порядочного круга.

— Господа, довольно! — говорил он в одной компании, играя в банк третьи сутки, — всякая шутка должна иметь свой конец. Я прошу вас больше не упоминать при мне об этой истории. Она обижает и меня, и мой чин, и мое